

В. М. Алпатов

ВОЛОШИНОВ, БАХТИН  
И ЛИНГВИСТИКА



STUDIA PHILOLOGICA

Владимир Алпатов

**Волошинов, Бахтин и лингвистика**

«Языки Славянской Культуры»

2005

## **Алпатов В. М.**

Волошинов, Бахтин и лингвистика / В. М. Алпатов — «Языки Славянской Культуры», 2005

Книга посвящена изучению лингвистических идей, содержащихся в трудах выдающихся отечественных ученых XX в. Михаила Михайловича Бахтина и Валентина Николаевича Волошинова, прежде всего получившей мировую известность книге «Марксизм и философия языка» (1929). Рассматривается место книги и примыкающих к ней статей в мировой науке о языке того времени, ее отношение к ведущим в те годы школам и направлениям мировой и отечественной лингвистики. Подробно исследуются полемика авторов книги с концепциями Ф. де Соссюра и К. Фосслера и их собственная теоретическая концепция языка и высказывания. Особо рассмотрен вопрос о роли марксизма в языкознании. Изучены история написания книги и примыкающих к ней статей, их оценки современниками. Исследованы также более поздние работы М. М. Бахтина 30—60-х гг., изучены их сходства и различия с книгой «Марксизм и философия языка», рассмотрены предложенные Бахтиным концепции стратификации языка, речевых жанров, диалога. В последней главе определяется значение идей В. Н. Волошинова и М. М. Бахтина для современной науки, рассмотрены идеи некоторых ученых, в той или иной степени продолжающих заложенную ими традицию.

© Алпатов В. М., 2005

© Языки Славянской Культуры, 2005

# Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ГЛАВА ПЕРВАЯ	7
1.1. МФЯ и развитие мировой лингвистики до начала XX в	8
1.1.1. История лингвистики в МФЯ и у других лингвистов	8
1.1.2. МФЯ о причинах формирования «абстрактного объективизма»	11
1.1.3. История «индивидуалистического субъективизма» в МФЯ	16
1.1.4. Философия, философия языка и лингвистика	21
1.2. МФЯ и современная книга советская лингвистика	24
1.2.1. Московская и Петербургская лингвистические школы	24
1.2.2. Авторы МФЯ, их учителя и коллеги	26
1.2.3. Круг Бахтина и Л. П. Лкубинский	30
1.2.4. Круг Бахтина и В. В. Виноградов	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

# Владимир Михайлович Алпатов

## Волошинов, Бахтин и лингвистика

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Предмет данной книги – рассмотрение лингвистических идей, содержащихся в сочинениях М. М. Бахтина и так называемого круга Бахтина, прежде всего в цикле, изданном под именем друга Бахтина Валентина Николаевича Волошинова.

Бахтинистика уже превратилась в самостоятельную научную дисциплину, выходящую за рамки истории науки в обычном смысле и до некоторой степени приобретающую эзотерический характер. Литература, посвященная сочинениям, принадлежащим или приписываемым Бахтину, неисчерпаема. Михаил Михайлович Бахтин превратился в героя легенд и мифов, а его имя проникает (по крайней мере, на Западе) даже в массовую культуру. Вот примеры, приводимые британской исследовательницей: «Один из персонажей фильма „Дым“ (1995; режиссер Вейн Ванг) рассказывает историю о некоем великом русском философе и завзятом курильщике Михаиле Бахтине, который в качестве папиросной бумаги использовал страницы своей рукописи; а книга „Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса“ недавно упоминалась в газете „The Guardian“ в качестве показательного теоретического эквивалента фильмов „Caggy On“ (примитивно-грубые сериалы)». <sup>1</sup> Даже в далекой Бразилии «сложился едва ли не культ М. М. Бахтина». <sup>2</sup>

Я не собираюсь рассматривать труды Бахтина и его круга во всей их полноте. Будучи по профессии лингвистом, я хочу обратиться лишь к той их части, где речь специально идет о проблемах языка. В 20-х гг. это прежде всего так называемый волошиновский цикл, особенно центральная его работа – изданная впервые в 1929 г. книга «Марксизм и философия языка» (далее сокращенно – МФЯ). Я не могу претендовать и на полный охват проблематики даже этих работ, поскольку проблемы, там затрагиваемые, выходят за пределы лингвистики. Я, безусловно, сознаю, что картина при этом получается неполной и односторонней, тем более что Бахтин в первую очередь считал себя не лингвистом, а философом, а Волошинов, лингвист по образованию, также имел склонность к рассмотрению философских проблем. Однако в существующей литературе по МФЯ и в примыкающих к книге статьях наблюдается, особенно в нашей стране, обратный перекося: их философская проблематика рассматривается гораздо в большей степени, чем лингвистическая. Если за рубежом уже имеется определенная традиция и лингвистического анализа этих работ, и использования их идей в лингвистике, у нас пока что и то и другое существует в очень ограниченных масштабах. При всей престижности имени Бахтина его наследие и наследие его круга не очень освоено нашими лингвистами; в причинах этого я также постараюсь разобраться. Надо учитывать и то, что Бахтин, уже без всякого участия Волошинова, продолжал обращаться к проблемам языка и в работах 30, 40, 50-х и начала 60-х гг., в большинстве опубликованных лишь в 70—90-е гг. Некоторые из них по проблематике – чисто лингвистические, другие посвящены литературе, но экскурсы в лингвистику и там занимают немалое место. Однако и эти сочинения гораздо лучше изучены философами и литературоведами, чем лингвистами. В книге я постарался рассмотреть в лингвистическом плане и эти сочинения Бахтина с учетом эволюции идей их автора.

Если связь идей Бахтина и круга Бахтина с развитием мировой философии, истоки их философских концепций и влияние на современные философские течения изучены уже доста-

---

<sup>1</sup> Адлам 2000: 169—170

<sup>2</sup> Васильев 2004: 247

точно хорошо, то включение МФЯ и других их работ в контекст мировой лингвистики до сих пор проведено лишь в малой степени. Я постарался в своей книге рассмотреть и эти проблемы.

Книга состоит из семи глав; «боковые» проблемы, выходящие за рамки ее основной проблематики, но как-то с ней связанные, выделены в экскурсы. Первая глава дает краткую характеристику развития мировой лингвистики к моменту появления МФЯ, в ней рассмотрены лингвистические истоки концепции МФЯ и примыкающих работ волошиновского цикла, анализируется отношение авторов этого цикла к своим предшественникам и современникам. К главе примыкает экскурс о М. М. Бахтине и В. В. Виноградове. Во второй главе речь идет о том, как авторы МФЯ подходили к своей главной книге по вопросам языка, рассмотрены их более ранние публикации, прежде всего статья «Слово в жизни и слово в поэзии», выявляется по сохранившимся свидетельствам история написания МФЯ (где многое до сих пор не может быть восстановлено). К главе примыкают два экскурса. Один экскурс посвящен проблеме, очень активно дебатированной уже более четверти века, – проблеме авторства МФЯ и других текстов волошиновского цикла. Я не считаю эту проблему первостепенной, поэтому все, что относится к ней, вынесено в экскурс и не затрагивается в остальной части книги. Скажу лишь, что до конца эта проблема не решается из-за отсутствия документальной основы, и мне кажется более разумным исходить из признания двойного авторства спорных текстов. Везде будет говориться об их авторах во множественном числе. Второй экскурс посвящен частной проблеме, затронутой в «Слове в жизни и слове в поэзии», – проблеме форм вежливости японского языка. Третья глава—центральная в книге, она специально посвящена идеям МФЯ, имеющим отношение к лингвистике. В четвертой главе отдельно рассматриваются проблемы марксизма в МФЯ в связи с предпринимавшимися у нас в 20-е гг. и в начале 30-х гг. попытками построения марксистской лингвистики; к главе примыкает экскурс о дальнейшей судьбе марксистской лингвистики. Пятая глава посвящена событиям, происходившим после появления МФЯ: анализируются последние по времени написания тексты волошиновского цикла, рассмотрены отзывы на МФЯ в литературе того времени, идеи МФЯ сопоставляются с идеями некоторых ученых 30—Ю-х гг. В шестой главе рассматриваются лингвистические проблемы поздних работ Бахтина, начиная от «Слова в романе», написанного в 30-е гг., и кончая фрагментом о металингвистике во втором варианте книги о Достоевском, относящемся к началу 60-х гг. Наконец, в седьмой главе делается попытка сопоставить идеи трудов, рассмотренных в книге, с лингвистикой последних десятилетий.

По проблематике данной книги ее автор с 1995 г. уже публиковал ряд статей. В конце книги приводится их список. Однако представляется, что следует попытаться обобщить их проблематику в рамках единой монографии. Ранее публиковавшиеся статьи при включении в текст книги подверглись переработке, иногда значительной.

Автор приносит искреннюю благодарность Н. А. Панькову, своей активностью и настойчивостью во многом стимулировавшему работу над книгой в разных ее вариантах.

## **ГЛАВА ПЕРВАЯ**

### **МФЯ И ЛИНГВИСТИКА XIX в. И НАЧАЛА XX в**

Вопрос о философских источниках МФЯ, о параллелях между МФЯ и современными книге философскими течениями достаточно разработан в бахтинистике, см. особенно.<sup>3</sup> Однако МФЯ – все-таки книга по теории языка. Поэтому нужно рассмотреть и отношение книги к различным течениям мировой и отечественной науки о языке, выяснить ее место в истории этой науки. А эта проблема до сих пор как следует не изучена. С ее рассмотрения мы и начнем свой рассказ.

---

<sup>3</sup> Махлин 1993; Махлин 1998

## 1.1. МФЯ и развитие мировой лингвистики до начала XX в

### 1.1.1. История лингвистики в МФЯ и у других лингвистов

Как известно, МФЯ – во многом историографическое сочинение. Значительную часть книги занимает анализ лингвистических и философских работ, посвященных теории языка или некоторым более конкретным вопросам языка. Это – во второй части книги целиком первая глава и во многом вторая и третья главы, а в третьей части вторая и третья главы. Как мне представляется, именно эти разделы, особенно во второй части, принадлежат к наиболее интересным в книге.

История лингвистики XIX в. и начала XX в. рассматривалась в то время многими. Представляется, что многое в концепции МФЯ может быть прояснено, если мы сопоставим ее трактовку в МФЯ и у других авторов.

Точки зрения на этот счет могли быть различными. Однако наиболее влиятельной с 20-х гг. была идея о том, что после посмертного издания в 1916 г. «Курса общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра наука о языке вошла в новый этап своего развития, что «новая» лингвистика принципиально отличается от «старой», господствовавшей в XIX в. Такое понимание истории лингвистики остается (при разных оценках смены парадигм) преобладающим по сей день. У нас уже в 20-е гг. эту точку зрения четко высказывала Р. О. Шор, о взглядах которой речь еще будет идти. Образцом данного подхода могут служить две статьи, которые именно в качестве представительных текстов такого рода включены в известную хрестоматию по истории лингвистики В. А. Звегинцева.

Обе статьи относятся к несколько более позднему времени, чем МФЯ: статья датского лингвиста Вигго Брёндаля появилась в 1939 г., а статья чешского лингвиста Вилема Матезиуса написана в начале 40-х гг. и издана в 1947 г. (посмертно). Авторы статей жили в разных странах и относились к разным направлениям внутри структурализма, но к истории науки о языке относились сходным образом.

В. Брёндаль противопоставляет новую, структурную лингвистику прежней, позитивистской, рассматриваемой как единое целое. Два направления, как показано у В. Брёндаля, различны по методологическим основам и несовместимы друг с другом. Под позитивистской лингвистикой в первую очередь понимается «сравнительная грамматика – детище XXIX века»,<sup>4</sup> в основном в ее позднем, младограмматическом виде, поскольку именно от младограмматизма отталкивались Ф. де Соссюр и другие основатели структурализма. Старая наука исторична, новая в основном занимается синхронией; старая интересовалась фактами, новая – структурами; старая устанавливает законы, новая строит модели; старая основывалась на индукции, новая – на дедукции; старая трактовала изменения в языке как эволюционные, новая учитывает скачки из одного состояния в другое.

Подход В. Матезиуса сходен, однако он «старую» науку рассматривает более дифференцированно. Там, по его мнению, существовали два направления и «две различные теоретические и методические точки зрения».<sup>5</sup> «Одним из таких взглядов был исторический и генетический», идущий от Ф. Боппа через А. Шлейхера к младограмматизму, составляющему «высший этап в развитии этого направления».<sup>6</sup> Второе, «аналитическое» направление В. Матезиус связал с именами В. фон Гумбольдта и его последователей – Х. Штейнталя и Ф. Н. Финка. Глав-

---

<sup>4</sup> Брёндаль 1960: 40

<sup>5</sup> Матезиус 1960: 87

<sup>6</sup> Матезиус 1960: 87



ной особенностью подхода Гумбольдта, по мнению Матезиуса, было то, что «его целью было стремление углубить общие принципы лингвистического исследования. Именно поэтому он мало интересовался историческим развитием языка, а сравнивал различные языки с чисто аналитической точки зрения, не обращая внимания на их генетическое родство».<sup>7</sup> Эта черта его концепции оценивается положительно, но «идеи аналитического направления могли бы стать плодотворными в развитии языкознания, если бы их авторы смогли ясно и чисто лингвистическим способом сформулировать последние и на базе их создать точные исследовательские приемы. Этого не случилось».<sup>8</sup> Науке прошлого века противопоставляется современная структурная лингвистика; ее основателем, наряду с Ф. де Соссюром, признается (в меньшей степени) и И. А. Бодуэн де Куртенэ.

Отметим еще два общих свойства подходов датского и чешского лингвистов. Оба считают началом научной лингвистики начало XIX в., игнорируя все то, что было раньше. Оба исходят из того, что современная лингвистика—исключительно продукт XX в.

А теперь обратимся к концепции МФЯ. Она выделяет в истории мировой лингвистики два основных направления, именуемые «абстрактным объективизмом» и «индивидуалистическим субъективизмом». Все, что есть в науке о языке, – либо одно, либо другое, либо их сочетание. Это противопоставление проходит через всю вторую часть книги и сохраняется в третьей части. Такая концепция совсем не похожа на концепцию В. Брэндаля, но на первый взгляд ближе к концепции В. Матезиуса, «аналитическое» направление которого по своему составу близко к «индивидуалистическому субъективизму» МФЯ.

В обоих случаях направление лингвистики возводится к В. фон Гумбольдту, а среди его представителей назван Х. Штейнталь. Однако для Матезиуса «аналитическое» направление уже в прошлом, последний из упомянутых его представителей – Ф. Н. Финк, умерший в 1910 г. Но МФЯ доводит «индивидуалистический субъективизм» до современности. К нему отнесены К. Фосслер, его ученик Л. Шпитцер, а также Б. Кроче<sup>9</sup> (далее в ссылках на это издание будут приводиться лишь номера страниц). А все эти ученые в 1929 г. были живы и активно работали (кстати, живы они были и в годы, когда писали свои статьи В. Брэндал и В. Матезиус, но те проигнорировали их существование). Более того, согласно МФЯ «школа Фосслера... бесспорно является одним из могущественнейших направлений современной философско-лингвистической мысли» (262). Конечно, к концу 30-х—началу 40-х гг. эта школа, еще существовавшая, уже стала не столь влиятельна, поэтому было больше оснований ее не замечать.

Но главное—даже не это, а критерии выделения существенных признаков направления. Вот как в МФЯ определяются основные черты «индивидуалистического субъективизма»:

- 1) язык есть деятельность, непрерывный творческий процесс созидания

(ἐνέργεια)

, осуществляемый индивидуальными речевыми актами;

- 2) законы языкового творчества суть индивидуально-психологические законы;
- 3) творчество языка – осмысленное творчество, аналогичное художественному;
- 4) язык как готовый продукт

(ἔργον)

, как устойчивая система языка (словарь, грамматика, фонетика) является как бы омертвевшим отложением, застывшей лавой языкового творчества, абстрактно конструируемый лингвистикой в целях практического научения языку как готовому орудию (260–261).

<sup>7</sup> Матезиус 1960: 88—89

<sup>8</sup> Матезиус 1960: 89

<sup>9</sup> Волошинов 1995: 262—265

Как будет показано ниже, не все из этих черт восходят к В. фон Гумбольдту. В основных чертах здесь воспроизводится концепция К. Фосслера. Но к Гумбольдту восходит важнейшее противопоставление *energeia* – *ergon*, понимание языка как деятельности. Это совсем не то, что интересно у великого немецкого ученого для В. Матезиуса. Последний писал: «Мысль о том, что анализировать язык означает анализировать деятельность (*energeia*), а не результат деятельности (*ergon*), хотя и помогла ему понять значение функции в языке, но вместе с тем принуждала его слишком высоко оценивать психологическую точку зрения».<sup>10</sup> Эта мысль у Матезиуса, как и у других структуралистов, не получила развития. Как сказано выше, интересен для него Гумбольдт прежде всего как основатель сопоставительного изучения языков вне зависимости от их родства, то есть как основатель типологии. Именно поэтому, надо думать, он упоминает Штейнталя и Финка и игнорирует Фосслера и Кроче: первые занимались типологией, а последние—нет.

Другое же направление, выделенное в МФЯ, «абстрактный объективизм», не укладывается в схемы В. Брёндаля и В. Матезиуса. С одной стороны, к нему отнесена вся «новая» лингвистика, начиная от Ф. де Соссюра, а также и И. А. Бодуэн де Куртенэ. Но с другой стороны, «корни направления нужно искать в рационализме XXVII и XVIII вв. Эти корни уходят в картезианскую почву» (271). Данные идеи «свое первое и очень отчетливое выражение... получили у Лейбница в его концепции универсальной грамматики» (271). Формулировка об этих идеях как «рожденных на французской почве» (272) заставляет вспомнить не только о «картезианской почве», но и о том, что Н. Хомский позже назовет «картезианской лингвистикой», то есть о «Грамматике Пор-Рояля» и других французских грамматиках XVII–XVIII вв., хотя в книге они ни разу не названы. Впрочем, надо учитывать, что в первой половине XIX в. эти грамматики имели незаслуженно плохую репутацию, и на них не всегда обращали внимание.

Так сказано в первой главе второй части. А дальше, во второй главе той же части, если не история, то хотя бы предыстория «абстрактного объективизма» раздвигается еще дальше. В основе этого подхода согласно МФЯ лежит «филологизм», «практическая и теоретическая установка на изучение мертвых чужих языков, сохранившихся в письменных памятниках... Филологизм является неизбежной чертой всей европейской лингвистики.... Как бы далеко в глубь времен мы ни уходили, прослеживая историю лингвистических категорий и методов, мы всюду встречаем филологов. Филологами были не только александрийцы, филологами были и римляне и греки (Аристотель— типичный филолог); филологами были индусы» (286).

В отношении исконности филологизма лингвистики авторы МФЯ не были правы, о чем будет сказано ниже. Но сейчас важно отметить, что согласно МФЯ именно «абстрактный объективизм» исторически первичен. Его корни очень глубоки, а эксплицитно выражаться он начал не то в XVII в., не то у Г. Лейбница в начале XVIII в., то есть за век или полтора до эпохи романтизма, породившей «индивидуалистический субъективизм». То есть лингвистика Соссюра по сути не нова. Здесь коренной пункт расхождений МФЯ с точкой зрения, выраженной у В. Брёндаля, В. Матезиуса и многих других.

Наконец, ведущая лингвистическая парадигма XIX в. – сравнительно-историческая, законченно выраженная у младограмматиков, – также трактуется в МФЯ иным образом, чем у структуралистов. Для В. Брёндаля это единственная, а для В. Матезиуса—главная альтернатива современной лингвистике. Но для МФЯ это вообще не есть особое направление в науке, поскольку младограмматизм имеет «по отношению к двум разобранным направлениям смешанный или компромиссный характер» (277). Младограмматики были связаны с «индивидуалистическим субъективизмом», «стремясь к его нижнему— физиологическому пределу. Индивид, творящий язык, для них в основном – физиологическая особь» (277). Однако они имели сходство и с «абстрактным объективизмом», поскольку «пытались построить незыбле-

<sup>10</sup> Матезиус 1960: 89

мые естественнонаучные законы языка, совершенно изъятые из какого бы то ни было индивидуального произвола говорящих» (277). Любопытно, что В. Брёндаль стремление младограмматиков установить законы языка (кстати, это стремление заметно уменьшалось с развитием младограмматизма) считал чертой, противопоставленной структурному подходу, но для МФЯ это – наоборот, свойство, сближающее соссюрианство с младограмматизмом.

Отметим, что черты, сближающие согласно МФЯ младограмматиков с «индивидуалистическим субъективизмом» («психофизиологическая почва»), скорее являются общими чертами даже не лингвистической, а общенаучной парадигмы второй половины XIX в. Индивидуальный психологизм был свойствен и Х. Штейнталу, и младограмматикам, и спорившим с ними с разных позиций К. Фосслеру и И.А. Бодуэну де Куртенэ. А в начале XX в. отход от него (еще не в крайнем виде) наметился не только у Ф. де Соссюра, но и у далеко не совпадавшего с ним по идеям А. Мейе (который, впрочем, в МФЯ также отнесен к «абстрактному объективизму»). Если это учитывать, младограмматики окажутся ближе к «абстрактному объективизму».

Важно, что классификация лингвистических направлений в МФЯ не выделяет в качестве существенных признаков ни параметр «исторический—синхронный подход к языку», ни параметр «анализ изолированных фактов – анализ структуры языка». Последний из них, впрочем, отражен несколько иным образом: упомянут «академический позитивизм», стремящийся «не принята, ни одной принципиальной точки зрения и провозгласить „факт“ как последнюю основу и критерий всякого познания» (277); отмечу также во введении к книге слова о «преклонении перед „фактом“» (218) в позитивизме. Это как бы «нулевой» подход, снимающий противопоставление двух подходов; для авторов МФЯ он столь же неприемлем, как и эклектизм, механически сочетающий черты двух подходов. А в младограмматизме такой, крайне позитивистский подход был очень распространен и со временем усиливался.

Итак, по сути подход МФЯ к истории лингвистики принципиально иной, чем у его современников (ниже я еще буду говорить о полемике авторов книги с Р. О. Шор). В некоторых пунктах он скорее напоминает (хотя, разумеется, далеко не во всем) подход к истории лингвистики у Н. Хомского, который будет предложен спустя сорок лет. Но об этом речь пойдет в последней главе.

### 1.1.2. МФЯ о причинах формирования «абстрактного объективизма»

Вернемся к характеристике «абстрактного объективизма» в МФЯ. Как и черты «индивидуалистического объективизма», его черты формулируются в виде четырех пунктов:

1) Язык есть устойчивая неизменная система нормативно тождественных языковых форм, преднаходимая индивидуальным сознанием и непререкаемая для него.

2) Законы языка суть специфические лингвистические законы связи между языковыми знаками внутри данной замкнутой языковой системы. Эти законы объективны по отношению ко всякому субъективному сознанию.

3) Специфические языковые связи не имеют ничего общего с идеологическими ценностями (художественными, познавательными и иными). Никакие идеологические мотивы не обосновывают явления языка. Между словом и его значением нет ни естественной и понятной сознанию, ни художественной связи.

4) Индивидуальные акты говорения являются, с точки зрения языка, лишь случайными преломлениями и вариациями или просто искажениями нормативно тождественных форм; но именно эти акты индивидуального говорения объясняют историческую изменчивость языковых форм, которая как таковая с точки зрения системы языка иррациональна и бессмысленна. Между системой языка и ее историей нет ни связи, ни общности мотивов. Они чужды друг другу (270–271).

Очевидно, что эти четыре «основоположения», как подчеркивают сами авторы, «являются антитезами соответствующих четырех основоположений» (271) «индивидуалистического субъективизма». Безусловно, такое суммарное перечисление усредняет и схематизирует взгляды всего направления. Отмечу и заметное противоречие между первым и четвертым пунктами: в первом пункте говорится о языке как «неизменной системе», а в четвертом оказывается, что языковые формы имеют «историческую изменчивость», а помимо «системы языка» существует и «история языка». Однако здесь, безусловно, отражается существенное противоречие, имеющееся и у самих «абстрактных объективистов», особенно у Ф. де Соссюра. «Неизменность системы» – некоторый идеал или по крайней мере удобное допущение для «абстрактного объективизма» (авторы «Грамматики Пор-Рояля» и Г. Лейбниц подходили к языку строго синхронно, исторический подход к языку начал формироваться лишь в XVIII в. и окончательно оформился в начале XIX в.). Однако изменение языка – несомненный факт, и его учет требовал усложнения теории «абстрактного объективизма» с включением в нее «антиномий» и пр. Не разграничены при перечислении «основоположений» и две, строго говоря, разные вещи: отрицание некоторого явления и отказ от его рассмотрения. Например, редко кто-то из структуралистов буквально говорил, что внеязыковые (идеологические, по терминологии МФЯ) мотивы «не обосновывают явления языка». Они имели в виду другое: для лингвистики это обоснование неважно, им занимаются психологи, антропологи, литературоведы и др. См., например, идеи Л. Блумфилда о языковых реакциях на внеязыковые стимулы<sup>11</sup> или идеи такого крайнего структуралиста, как З. Харрис.<sup>12</sup>

Перечисление признаков «абстрактного объективизма» в МФЯ явно ориентировано на концепцию Ф. де Соссюра. Сейчас уже ясно, например, что положение о том, что «между системой языка и его историей нет ни связи, ни общности мотивов», – прежде всего особенность его концепции. Продолжатели идей Соссюра чаще всего либо вообще не обращались к истории языка, либо признавали тесные связи диахронии с синхронией, как, например, Р. Якобсон.

Конечно, надо учитывать, что в 1928 г., когда писалась книга, перспективы развития структуралистского варианта «абстрактного объективизма» еще не были до конца ясны. Во всяком случае, на этот счет еще были возможны споры вроде тех, в которые авторы МФЯ вступили с Р. О. Шор, считавшей эти перспективы значительными. Развитие структурализма находилось еще на ранней стадии. Пражский кружок образовался почти одновременно с написанием и публикацией МФЯ, а ставшие его манифестом «Тезисы Пражского кружка» выйдут несколькими месяцами позже. Леонард Блумфилд уже работал, но еще мало был известен за пределами США, а его главная книга «Язык» появится лишь в 1933 г. Глоссематика также станет известна лишь на несколько лет позже выхода МФЯ. Авторы МФЯ еще имели основания считать, что «идеи абстрактного объективизма и до настоящего времени господствуют преимущественно во Франции» (272). Любопытно, что тут же образцом источника этих идей признается «Женевская школа». Вряд ли авторы МФЯ не знали, что Женева находится в Швейцарии, а не во Франции; просто «Франция» здесь – условное наименование для территории распространения французского языка (точно так же под «немецкой наукой» в книге понимается без какого-либо разграничения германская и австрийская). Среди франкоязычных ученых упоминаются лингвисты Ф. де Соссюр, Ш. Балли, А. Сеше, А. Мейе и повлиявший на них социолог Э. Дюркгейм. Еще названо несколько имен отечественных ученых, о чем будет сказано ниже. И всё.

Но если о развитии лингвистики после Ф. де Соссюра авторы МФЯ еще не могли адекватно судить, то идеи предшественников знаменитого швейцарца как бы поглощаются его идеями. Картезианцы и Лейбниц лишь кратко упомянуты, а об «абстрактно-объективистской»

<sup>11</sup> Блумфилд 1960: 127—131

<sup>12</sup> Harris 1948: 1—3

науке второй половины XVIII в. и всего XIX в. вовсе не сказано, исключая лишь небольшой пункт о понятии закона у младо-грамматиков.

Подробнее, но без упоминания конкретных фактов и имен сказано об истоках «абстрактного объективизма». Его происхождение связывается с решением двух практических задач. Первая из них упоминалась выше: филологизм, толкование древних памятников. Согласно МФЯ «лингвистика появляется там и тогда, где и когда появились филологические потребности. Филологическая потребность родила лингвистику, качала ее колыбель и оставила свою филологическую свирель в ее пеленах. Пробуждать мертвых должна эта свирель. Но для овладения живой речью в ее непрерывном становлении у нее не хватает звуков» (286).

Такая цель влияла на выработку методов: «Руководимая филологической потребностью, лингвистика всегда исходила из законченного монологического высказывания—древнего памятника, как из последней реальности. В работе над таким мертвым монологическим высказыванием или, вернее, рядом таких высказываний, объединенных для нее только общностью языка, — лингвистика вырабатывала свои методы и категории... Филолог-лингвист вырывает его (памятник. — В.А.) из... реальной сферы, воспринимает так, как если бы он был самодовлеющим, изолированным целым, и противопоставляет ему не активное идеологическое понимание, а совершенно пассивное понимание, в котором не дремлет ответ, как во всяком истинном понимании. Этот изолированный памятник как документ языка филолог соотносит с другими памятниками в общей плоскости данного языка. В процессе такого сопоставления и взаимоосвещения в плоскости языка изолированных монологических высказываний и слагались методы и категории лингвистического мышления» (287–288).

Современный уровень изучения лингвистических традиций требует корректировки положения МФЯ об исконном филологизме в изучении языка. Филологический подход к языку требует двух условий: достаточно большого числа текстов, требующих изучения, и сознания определенных различий между языком этих текстов и обиходным языком: толковать необходимо лишь то, что непонятно или не вполне понятно. Поэтому ни у одного народа филология не могла возникнуть очень рано, тогда как лингвистическая традиция могла сложиться раньше. Из наиболее значительных традиций, пожалуй, лишь японская традиция сформировалась на филологической основе, но она появилась очень поздно: в XVII–XVIII вв., когда письменность непрерывно существовала уже около тысячи лет. В Александрии, где формировалась античная традиция, правда, занимались толкованием Гомера и других древних уже для того времени авторов, однако объектом собственно грамматик (Дионисия Фракийского и др.) был не язык Гомера, а койне, в ту пору живой язык. Именно на материале живого языка, не требовавшего толкования, были разработаны классификация звуков на гласные и согласные, система частей речи, описание грамматических категорий и др. Что же касается «индусов-филологов», то, очевидно, что авторы МФЯ имели очень ограниченное представление о древней индийской лингвистике, в частности о знаменитой грамматике Панини. Уже то, что эта грамматика была создана устно, а затем передавалась в такой форме из поколения в поколение, не свидетельствует о ее филологическом происхождении. И ее назначение было совершенно иным: она состояла из правил, по которым из первичных элементов (корней) строились правильные ритуальные тексты. Это не филологическая, а риторическая задача! О причинах формирования лингвистических традиций подробнее см..<sup>13</sup>

Конечно, из того факта, что традиции не создавались специально для филологических целей, не следует, что такие цели позже не появлялись. Действительно, и в Индии позже сама грамматика Панини была объектом изучения филологов, а место филологии в европейской культуре средних веков и Нового времени было значительным. Однако все-таки роль филологии для ранних этапов изучения языка в МФЯ преувеличена.

<sup>13</sup> Алпатов 1990; 1998б: 17—20

Далее в МФЯ делается важное уточнение: «Мертвый язык, изучаемый лингвистом, конечно – чужой для него язык» (288). И далее речь идет о второй практической задаче, повлиявшей на становление «абстрактного объективизма»: задаче обучения языку.

Авторы указывают: «Рожденное в процессе исследовательско-го овладения мертвым чужим языком, лингвистическое мышление служило еще и иной, уже не исследовательской, а преподавательской цели: не разгадывать язык, а научать разгаданному языку. Эта вторая основная задача лингвистики—создать аппарат, необходимый для научения разгаданному языку, так сказать, кодифицировать его в направлении к целям школьной передачи – наложила свой существенный отпечаток на лингвистическое мышление. Фонетика, грамматика, словарь – эти три раздела системы языка, три организующих центра лингвистических категорий—ложились в русло указанных двух задач лингвистики – эвристической и педагогической» (288–289).

С точки зрения исторической первичности две задачи стоило бы поменять местами. Большинство традиций сложились именно на основе решения задачи обучения тому или иному языку культуры: греческому койне, арабскому языку Корана, санскриту; в Китае эта задача была связана с обучением иероглифике. Филологические задачи во всех этих культурах появились позднее. Нельзя также ставить знак равенства между понятиями «мертвый язык» и «чужой язык»: всякий мертвый язык—чужой, но обратное неверно. Традиции редко вырабатывались на основе изучения действительно мертвых языков; даже санскрит, на котором во времена Панини в быту не говорили, был вполне живым языком ритуала. Однако требует внимания идея о выработке традиций на материале чужих языков: «Поразительная черта: от глубочайшей древности и до сегодняшнего дня философия слова и лингвистическое мышление зиждутся на специфическом ощущении чужого, иноязычного слова и на тех задачах, которые ставит именно чужое слово сознанию – разгадать и научить разгаданному» (289).

Введенный здесь термин «чужое слово» как бы перекидывает мостик к изучению проблемы «чужого слова» в последней части МФЯ и в поздних сочинениях М.М. Бахтина. Но сейчас вернемся к истории лингвистики. Здесь надо уточнить само понятие «чужого, иноязычного слова».

История разных традиций, в том числе и европейской, показывает, что языки, обучение которым лежит в основе формирования этих традиций, отнюдь не рассматриваются их носителями как «чужие». Например, для древних греков, безусловно, «чужие» языки «варваров» не могли стать объектом изучения. Единственным таким объектом считался «свой язык», койне, основанный на аттическом диалекте. Однако он был подлинно «своим» не для всех. Показательно, что греческая наука в течение всего классического периода (V–IV вв. до н. э.) не разработала сколько-нибудь развитого аппарата для описания языка; о языке рассуждали в рамках философии. Лишь у Аристотеля можно видеть самое начало разработки этого аппарата, заключавшееся, например, в первой, еще мало детализированной классификации частей речи. И только в Александрии в эпоху эллинизма такой аппарат сложился. То есть лингвистики (грамматики в античной терминологии) не было, пока по-гречески говорили в основном греки и не нужно было специально обучать языку. Но в Египте времен Птолемея греческий язык (койне), язык администрации и культуры, для большинства населения был «чужим», ему надо было учиться, ему надо было учить, следовательно, его надо было изучать.

Аналогичная ситуация была и в мусульманском мире, где после формирования Арабского халифата очень быстро, в течение одного VIII в. н. э. сложилась развитая лингвистическая традиция. И центрами ее стали не исконно арабские земли, а Месопотамия (Басра и Куфа), лежащая на границе арабского и персидского мира. Там особенно остро стояла проблема обучения языку Корана (тогда мало отличавшемуся от разговорного) людей, для которых арабский язык не был родным. Великий грамматист Сибавейхи, живший во второй половине VIII в., считается персом по происхождению. Тем более «чужими» были санскрит, язык

ритуала, и иероглифический китайский язык, хотя мертвыми они не были; подробнее обо всем этом см. специальную статью.<sup>14</sup>

Переоценивая роль мертвых языков, МФЯ имплицитно отражает другую, на мой взгляд, более важную черту европейской лингвистической традиции и выросшей из нее лингвистической науки: ориентацию на текст как на исходную данность. Двусмысленность термина «текст» – любой результат речевой деятельности и его частный случай – письменный текст – конечно, не случайна. Ориентация на анализ уже существующих текстов особенно наглядна при работе филолога, однако филологизм ко времени появления МФЯ уже не был обязательным свойством работы лингвиста. В то же время более широкое понимание текста (не только письменный, но и устный; не только стандартизованный, но и диалектный) не меняло общей картины. И в древней Александрии, и в Европе 1928 г. изучение языка было анализом текстов, моделированием деятельности слушающего, воспринимающего, а не создающего тексты. Синтетический подход, порождающий тексты, существовал лишь у Панини и других древних индийцев. Ситуация станет меняться лишь на грани 50-х и 60-х гг. XX в., но об этом в последней главе.

Ориентация исследования на анализ готовых, существующих независимо от исследователя текстов способствовала пониманию объекта исследования в виде *ergon*. Об этой проблеме в МФЯ говорится лишь косвенно, но формулировки книги связаны с этим: «Лингвистика изучает живой язык так, как если бы он был мертвым, и родной—так, как если бы он был чужим» (292); «абстрактный объективизм» основан на «представлении об языке как о готовой вещи» (293); ему свойственно «неумение понять становление языка изнутри» (293). Слово «объективизм» в названии всего направления тоже связано с этим.

Весь «абстрактный объективизм» в книге связывается с представлением о языке как о чем-то внешнем по отношению к исследователю, о строгом разграничении позиций носителя и исследователя языка. В связи с этим не случайно, что такой подход, прежде всего, связывается с современной авторам наукой о языке.

Позиция традиционной науки о языке по этому вопросу все же, думается, была двойственной. С одной стороны, исходным материалом были готовые и отделенные от исследователя тексты; исследователь мог быть их автором, но их построение и анализ были отделенными друг от друга операциями. С другой стороны, этот анализ предполагал использование (чаще неосознанное) интуиции носителя языка. Происходило как бы вживание исследователя в изучаемый текст, а позиция исследователя опиралась на позицию носителя языка. Интересные соображения на этот счет содержатся у японского лингвиста Токиэда Мотоки,<sup>15</sup> чья концепция будет специально разобрана в пятой главе данной книги. Хотя для формирования лингвистической традиции важна была потребность учиться «чужим» языкам, но изучаться они могли, лишь предварительно став «своими». Членение текста на звуки, на слова, классификация слов, выделение парадигм и т. д. в лингвистических традициях не были результатом «разгадывания языка», то есть дешифровки, как это утверждается в МФЯ. Все это составляло разные стороны стихийной модели психолингвистического механизма носителя языка. Поэтому позиция авторов МФЯ, согласно которой «абстрактный объективизм» исторически первичен, верна лишь отчасти: он был первичен настолько, насколько исследователи языка исходили из чисто аналитического подхода к языку; к анализу, однако, добавлялся учет интуиции.

История лингвистики характеризуется борьбой и сосуществованием двух подходов к языку: антропоцентричного и системоцентричного.<sup>16</sup> Антропоцентричный подход основан полностью или частично на интуиции носителя языка; исследователь языка в качестве метода

<sup>14</sup> Алпатов 1990

<sup>15</sup> Токиэда 1983

<sup>16</sup> Рахилина 1989

его анализа использует (осознанно либо бессознательно) интроспекцию. Как я старался объяснить, выше, традиционный подход был именно таким, на что указывает и Е. В. Рахилина. Однако к концу XXIX в. и особенно с начала XXX в. в науке о языке стал распространяться системоцентричный подход, при котором язык рассматривается как полностью внешнее явление по отношению к исследователю, интуиция и интроспекция изгоняются из лингвистики, а образцом для науки о языке признаются естественные науки. Именно это было свойственно «новой» лингвистике первой половины XXX в. Те «абстрактные объективисты», о которых говорится в МФЯ, еще не были самыми крайними представителями системоцентризма, до полного завершения его доведут дескриптивисты, однако общая тенденция была схвачена в МФЯ верно.

Переход от антропоцентризма к системоцентризму был свойствен в то время не только лингвистике. Естественные науки, достигшие к тому времени больших успехов, служили образцом научной строгости, а попытки господствовавших во второй половине XIX в. и в самом начале XXX в. психологических направлений в лингвистике эксплицировать лингвистическую интуицию оказались не очень успешными. К такой экспликации стремился, в частности, И.А. Бодуэн де Куртенэ, но и он уже требовал преодолеть «предрассудок антропоцентризма».<sup>17</sup> У Ф. де Соссюра отход от психологизма уже был значительным, хотя не был еще проведен до конца.

Согласно МФЯ «абстрактный объективизм» довел до логического завершения подход к языку как к «чужому» и «мертвому» объекту. Уже из самой терминологии можно видеть, что это направление оценивается в книге негативно, однако специально его критика будет мной рассмотрена ниже, в третьей главе.

### 1.1.3. История «индивидуалистического субъективизма» в МФЯ

Вернемся теперь к характеристикам «индивидуалистического субъективизма». Как уже говорилось, он возводится к Вильгельму фон Гумбольдту. Оценки этого мыслителя в МФЯ очень высоки: «могучая гумбольдтовская мысль» (261), «философский синтез и глубина Гумбольдта» (262); у «абстрактного объективизма» «не было представителя и основоположника, по масштабу равного В. Гумбольдту» (271). Сказано, что «вся послегумбольдтовская лингвистика до наших дней находится под его (Гумбольдта. – В. А.) определяющим влиянием» (261). Приведена и библиография работ Гумбольдта и о Гумбольдте.

И там не менее прямого влияния идей этого великого ученого в книге, как это ни покажется странным, не наблюдается. Во всем тексте нет ни одной ссылки на него (в статье «Слово в жизни и слово в поэзии» есть глухая ссылка на него по частному поводу, о которой речь пойдет в третьем экскурсе). Есть лишь две ссылки на книгу Г. Г Шпета о Гумбольдте, одна из которых (218) прямого отношения к Гумбольдту не имеет, а другая (261) также, прежде всего, характеризует отношение авторов к Шпету: «Концепция Шпета, очень субъективная, лишняя раз доказывает, насколько сложен и противоречив Гумбольдт; вариации вышли очень свободными». Сама же «сложность и противоречивость» Гумбольдта должна приниматься читателем на веру. Можно даже предположить, что авторы МФЯ не читали Гумбольдта или читали в небольшом объеме, а судили о нем на основе его интерпретаций у других авторов (не только Г. Г Шпета, но прежде всего К. Фосслера и его школы).

Если вернуться к «основоположениям» «индивидуалистического субъективизма», процитированным выше, то можно увидеть их неполное соответствие идеям В. фон Гумбольдта, хорошее представление о которых дает наиболее полное русское издание его трудов.<sup>18</sup> Лишь

<sup>17</sup> Бо-дуэн 1963, 2: 17

<sup>18</sup> Гумбольдт 1984



первое и четвертое «основоположения» более или менее соответствуют этим идеям, хотя выражены иначе, исключая восходящие к Гумбольдту, но использовавшиеся и его последователями греческие слова *energeia* и *ergon*. Третье «основоположение» о сходстве языкового и художественного творчества также может быть возведено к Гумбольдту, но там этот пункт никак не относится к «основоположениям» и упомянут лишь вскользь. И совсем не соответствует Гумбольдту пункт второй: «Законы языкового творчества суть индивидуально-психологические законы». Но у Гумбольдта индивидуальная психика второстепенна, он все время подчеркивает, что язык – коллективное явление, выражение не духа индивида, а «духа народа»: «Язык... есть лишь продукт языкового сознания нации, и поэтому на главные вопросы о началах и внутренней жизни языка... вообще нельзя должным образом ответить, не поднявшись до точки зрения духовной силы и национальной самобытности».<sup>19</sup> «Язык... не создание народов, а доставшийся им в удел дар, их внутренняя судьба. Когда мы говорим, что язык самодеятелен, самосоздан и божественно свободен, а языки скованы и зависимы от народов, которым принадлежат, то эта не пустая игра слов».<sup>20</sup> «Язык... заложен в самой природе человека и необходим для развития его духовных сил и формирования мировоззрения, а этого человек только тогда сможет достичь, когда свое мышление поставит в связь с общественным мышлением».<sup>21</sup>

Сам ярлык «индивидуалистического субъективизма» мало подходит к Гумбольдту. Этот мыслитель, наоборот, подчеркивал роль объективных законов развития языка, весьма мало зависимых от воли отдельных людей, хотя, разумеется, его понимание таких законов отлично от «объективизма» младограмматиков или структуралистов. И совсем нет у него «индивидуализма»: первичен народ. И «дух народа» – понятие не психологическое. Надо учитывать и то, что во времена Гумбольдта психология только начинала формироваться как наука.

Ситуацию с посмертной судьбой идей Гумбольдта хорошо охарактеризовал современный последователь МФЯ Б. Гаспаров (о концепции которого специально будет говориться в последней главе): «Несмотря на то, что идеи Гумбольдта сохраняли высокую авторитетность на протяжении как большей части XIX, так и XX века, в конкретных описаниях истории и структуры различных языков они фактически не отразились».<sup>22</sup> МФЯ, разумеется, не есть «конкретное описание», но общая традиция почитать немецкого мыслителя, не пользуясь его идеями, проявилась даже здесь. Об этой традиции по сути писали и во времена появления МФЯ. Показательно замечание Л. П. Якубинского о А. И. Томсоне: «Приходится, пожалуй, пожалеть, что Гумбольдт оказал только „нравственное“ влияние на этого, в своей сфере очень знающего, очень тонко наблюдающего исследователя».<sup>23</sup> Да и К. Фосслер отмечал, что хотя в современной ему лингвистике охотно повторяются слова *ergon* и *energeia*, это не означает, что идеи Гумбольдта принимаются всерьез.<sup>24</sup>

И при общей философской направленности МФЯ авторы книги вовсе не используют философские идеи Гумбольдта, проявлявшиеся в его рассуждениях о духе народа и духе языка. Вряд ли они были им близки. Даже там, где ссылка на Гумбольдта была бы уместной с точки зрения их концепции, например в связи с признанием языка социальным явлением, они этого не делают. Из всех коллективов для Гумбольдта, прежде всего, был важен народ, то есть множество людей, говорящих на одном языке. Такое понимание социального в языке, свойственное эпохе романтизма, для авторов МФЯ не было актуальным.

<sup>19</sup> Гумбольдт 1984: 47

<sup>20</sup> Гумбольдт 1984: 49

<sup>21</sup> Гумбольдт 1984: 51

<sup>22</sup> Гаспаров 1996: 21

<sup>23</sup> Якубинский 1986: 23

<sup>24</sup> Фосслер 1928: 148

Тем не менее я не могу согласиться с мнением Н. Л. Васильева, который пишет: «Действительно, Волошинов вряд ли обоснованно связывает развитие „индивидуалистического субъективизма“ (фосслеризма) с именем В. Гумбольдта. Скорее... последнего следует рассматривать как предшественника Соссюра».<sup>25</sup> У Соссюра есть влияние Гумбольдта (не упомянутого в соссю-ровском курсе) по некоторым вопросам, например по вопросу о форме и субстанции (материи) языка, но в том, что интересует авторов МФЯ, в понимании языка либо как деятельности, либо как «устойчивой неизменной системы» взгляды двух классиков науки о языке решительно расходились: Гумбольдт (как и его последователь Фос-слер) стоял на первой точке зрения, а Соссюр на второй.

О дальнейшем развитии «индивидуалистического субъективизма» в МФЯ, в частности, говорится: «В русской лингвистической литературе важнейшим представителем первого направления („индивидуалистического субъективизма“. – В.А.) является А. А. Потебня и круг его последователей» (261); названо несколько имен представителей основанной Потебней и уже не существовавшей к 1928 г. Харьковской школы. Однако более в книге нигде идеи этих ученых не используются. Есть мнение о значительном влиянии Потебни на концепцию МФЯ и работ Бахтина 30—50-х гг.,<sup>26</sup> однако трудно об этом судить. Несколько подробнее в МФЯ сказано о продолжателях традиций Гумбольдта в немецкой науке второй половины XIX в. Хаймане Штейнтале и Вильгельме Вундте. Эти ученые действительно сделали шаг в сторону «индивидуалистического субъективизма», обратившись к психологии, поначалу к коллективной, а затем все более к индивидуальной; тем самым их оценки в МФЯ адекватнее, чем оценки Гумбольдта. Указано, что «вундтовская психология народов слагается из психик отдельных индивидов; для него всей полнотой реальности обладают только они» (262). Оценка этого периода в развитии «индивидуалистического субъективизма» не слишком лестна: «направление значительно мельчало» по сравнению с его создателем, на его развитии отразился позитивизм, а у школы Вундта «связь с Гумбольдтом... уже очень слабая» (262). Со всем этим можно согласиться, но и эти ученые затем исчезают со страниц книги.

К числу современных представителей «индивидуалистического субъективизма» отнесен итальянский философ-неогегельянец Бенедетто Кроче, много занимавшийся проблемами философии языка. Вопрос об идеях этого ученого в связи с идеями МФЯ специально разобран в статье,<sup>27</sup> где, в частности, отмечается различие между его идеями и идеями школы Фосслера. Однако в МФЯ о Кроче говорится кратко и тоже лишь в историографическом очерке, где подчеркнуто: «Идеи Бенедетто Кроче во многих отношениях близки к фосслеровским», «и для Кроче (как и для Фос-слера. – В.А.) индивидуальный речевой акт выражения является основным феноменом языка» (264–265). То есть, прежде всего, отмечено сходство идей немецкого и итальянского ученых, а их различие не обсуждается.

Все эти ученые по существу рассматриваются в МФЯ только как предшественники или соратники Карла Фосслера и ученых его школы, прежде всего Лео Шпитцера. Именно идеи этой школы излагаются в приведенных выше «основоположениях» данного направления в языкознании (так же как «основоположения» другого направления излагают концепцию Ф. де Соссюра). За пределами чисто историографического раздела в первой главе второй части из представителей «индивидуалистического субъективизма» в книге названы К. Фосслер, Л. Шпитцер (Шпицер), Е. Лорк, Э. Лерч, Г. Лерч (двое последних в третьей части).

Именно для школы Фосслера были свойственны все четыре «основоположения», в том числе сведение законов творчества к «индивидуально-психологическим» и выдвижение на первый план сходства между языковым и художественным творчеством. А все, что в книге есть

<sup>25</sup> Васильев 2000а: 61

<sup>26</sup> Киклевич 1993: 12—13

<sup>27</sup> Брандист 1995

от В. фон Гумбольдта, прежде всего понимание языка как деятельности и скепсис по отношению к познавательной ценности информации, содержащейся в грамматиках и словарях, пришло, если использовать любимый термин первой части МФЯ, в «преломлении» школы Фосслера. Поэтому нельзя согласиться с В. В. Колесовым, который, отмечая влияние Гумбольдта на Бахтина, даже не упоминает Фосслера по имени, относя его школу лишь к «крайним проявлениям» гумбольдтианства.<sup>28</sup>

Оценки этой школы в книге исключительно высоки и сравнимы лишь с оценками Гумбольдта. Одна из них приводилась выше. Вот другая: «Первое направление философии языка („индивидуалистический субъективизм“ – В.А.), сбросив с себя путы позитивизма, снова достигло могучего расцвета и широты в понимании своих задач в школе Фосслера» (262). Споря с Р. О. Шор, видевшей в современной лингвистике прежде всего структурализм, авторы МФЯ заявляют: «Этот вывод поражает своей односторонностью и предвзятостью. С фактической стороны он совершенно не верен. Ведь к современной теоретической лингвистике относится и школа Фосслера, являющаяся одним из наиболее мощных движений современной лингвистической мысли. Недопустимо отождествлять современную лингвистику лишь с одним из ее направлений» (316).

И в выборе тематики, и даже в подборе имен в МФЯ (и в других работах волошиновского цикла) ощущается влияние школы Фосслера. Например, в пятой главе будет специально говориться о перекличке идей между МФЯ и К. Бюлером. Этот ученый упомянут и в МФЯ (283), правда по частному вопросу, и как теоретик в предшествовавшем книге «Отчете» В. Н. Волошинова.<sup>29</sup> Но в поле зрения авторов МФЯ оказалась лишь одна его статья,<sup>30</sup> опубликованная как раз в юбилейном сборнике в честь пятидесятилетия Фосслера! Видимо, этот выдающийся ученый стал им известен благодаря их интересу к Фосслеру. Большой фрагмент МФЯ, посвященный отражению в высказывании переживания голода (303–306), навеян (что указано прямо) исследованием Шпитцера об отражении чувства голода в письмах итальянцев из австрийского плена в годы первой мировой войны (об этом исследовании см. также<sup>31</sup>). Наконец, главная конкретно-исследовательская тема МФЯ – несобственно-прямая речь – постоянный предмет исследований школы Фосслера, недаром анализ истории изучения этой темы во многом сводится к анализу работ Э. Лерча, Г. Лерч и Е. Лорка.

И еще гипотеза, которую я не могу доказать и на которой не настаиваю, но которую все же рискну высказать. Одной из постоянных тем ученых школы Фосслера (романистов по конкретной специальности) было изучение Франсуа Рабле. В частности, словообразованию у этого классика литературы была посвящена диссертация Л. Шпитцера.<sup>32</sup> Не здесь ли один из истоков написанной много позднее знаменитой диссертации М. М. Бахтина?

Откуда такой интерес к одному из направлений западной лингвистики, которое мало кто из языковедов 20-х гг. оценивал столь высоко (Р. О. Шор, как мы увидим ниже, была удивлена такими оценками)? При не очень значительной лингвистической эрудиции авторов МФЯ (об этом будет сказано ниже) несомненно их очень хорошее знание большого числа публикаций, вышедших из этой школы, «немногочисленной», по оценкам В. А. Звегинцева.<sup>33</sup>

Тут можно выдвинуть еще одну гипотезу. Обширное наследие работавшего всю первую половину XX в. К. Фосслера лишь в небольшой части переведено на русский язык. Но первые его публикации<sup>34</sup> появились в журнале «Логос», одном из центров русской идеалистиче-

<sup>28</sup> Колесов 2003: 368

<sup>29</sup> Отчет 1995: 89

<sup>30</sup> Buhler 1922

<sup>31</sup> Жирмунский 1928: ЧЙЙ

<sup>32</sup> Шпитцер 1928: 196; Жирмунский 1928: ХРV

<sup>33</sup> Звегинцев 1960, 1: 266

<sup>34</sup> Фосслер 1910; Фосслер 1912—1913

ской философии того времени. Журнал печатал многих видных русских философов, а также и зарубежных ученых (отмечу среди них «приват-доцента Г. Лукача» из Будапешта). Вопросы философии языка не были в данном издании в числе приоритетных, а К. Фосслер – кажется, единственный автор «Логоса», профессионально занимавшийся лингвистикой. Но именно его участие в журнале не случайно: из видных немецких лингвистов того времени лишь он интересовался философией языка. Другие его современники были склонны к позитивизму и не любили абстракции (один из них, Б. Дельбрюк, утверждал, что хорошее описание языка совместимо с любой теорией). А Фосслер был последовательным антипозитивистом, отстаивавшим идеализм (его собственный термин) в лингвистике; см. об этом, помимо статей в «Логосе», отрывки из его работ, включенные в хрестоматию В. А. Звегинцева.<sup>35</sup>

Бахтин и Волошинов вырастали в обстановке философских споров, кружков и бесед. Оба пришли в лингвистику из философии (Бахтин, впрочем, никогда из нее не уходил). «Логос», безусловно, был известен им с юности и не мог не быть авторитетным для них изданием. Очень вероятно, что философия языка с юности для них (или для кого-то одного из них) ассоциировалась с Карлом Фосслером. А это повлекло за собой и внимательное изучение в оригинале его работ и работ его последователей.

В заключение раздела еще одно наблюдение. При чтении русских переводов работ Фосслера разного времени, невольно кажется, что они принадлежат разным авторам. Переводы советского времени<sup>36</sup> сухи и наукообразны (первый принадлежит известному германисту Б. А. Ильишу, тогда совсем молодому, второй, скорее всего – самому профессору В. А. Звегинцеву). А переводы в «Логосе» (переводчик не указан) звучат совсем иначе – эмоционально и высокопарно; читая их, ощущаешь, что автор – философ, а не профессор лингвистики. И стиль этих переводов нередко напоминает стиль МФЯ с «колыбелями», «свирелями» и др. Не хочу сказать, что Бахтин или Волошинов переводили Фосслера в «Логосе»: это исключено уже потому, что им во время публикации первого из переводов было по 15 лет. Так писали и другие авторы журнала. Это был общий стиль эпохи, под который «причесали» и немецкого ученого.

В связи с этим отмечу, что общая маргинальность МФЯ для советской науки тех лет проявлялась не только в идеях, но и в стиле книги. Книга могла казаться несовременной даже не столько по содержанию, сколько по форме. «Филологическая свирель, пробуждавшая мертвых» и подобные выражения книги должны были казаться слишком «возвышенными» и «пролетарскому» читателю, и профессиональному лингвисту. Это стиль «Логоса» и вообще философии Серебряного века, тогда как языковеды и в предреволюционные годы писали менее эмоционально. Изменить язык и стиль бывает труднее, чем мировоззрение.

Вот один пример на ту же тему. В последней части МФЯ сказано, что у фосслерианцев «иногда язык прямо превращается в игральные индивидуального вкуса» (342). Спустя три года появилась полемическая брошюра против марризма.<sup>37</sup> Стремясь доказать тезис о том, что «у каждого класса свой язык» (свойственный тогда не только Н. Я. Марру, но и его противникам), ее автор сопоставляет словарь В. И. Ленина («сапоги всмятку», «похабный мир», «сволочь идеалистическая» и т. д.) и «буржуазный» словарь П. Н. Милюкова. И в примеры последнего наряду со «стяжанием» и «властеборством» попадает как раз «игральное».<sup>38</sup> Совпадение, конечно, случайное. Однако «игральное» для СССР начала 30-х гг. выглядело как «чужое слово». Во избежание недоразумений скажу, что автор брошюры П. С. Кузнецов (впоследствии один из моих учителей в МГУ) был очень серьезным ученым. У него не было ни желания выслужиться, ни «карнавальной» иронии, просто он бессознательно стремился быть

<sup>35</sup> Фосслер 1960: 286—297

<sup>36</sup> Фосслер 1928; Фосслер 1960

<sup>37</sup> Кузнецов 1932

<sup>38</sup> Кузнецов 1932: 4

«в ногу» со своим временем. А авторам МФЯ при их симпатиях к марксизму (см. четвертую главу) это не удавалось.

Впрочем, если язык Московской и Ленинградской лингвистических школ был совсем непохож на язык и стиль МФЯ, то как раз Н. Я. Марр и подражавшие ему ученики вроде молодого В. И. Абаева были в этом отношении ближе к МФЯ. Может быть, это одна из причин версии о «марризме» МФЯ, о которой речь пойдет ниже.

#### 1.1.4. Философия, философия языка и лингвистика

Помимо анализа идей лингвистов в МФЯ говорится и об идеях философов, как-то касавшихся проблем языка (впрочем, конечно, грань между лингвистами и философами нередко достаточно условна – куда, например, отнести Гумбольдта?). Не будучи по специальности историком философии, я не могу рассмотреть сколько-нибудь детально проблему философских истоков концепции МФЯ; как я уже отмечал, эта проблема сейчас изучается. Особенно надо отметить английского исследователя К. Брандиста.<sup>39</sup> Кое-что, однако, отметить нужно. Например, бросается в глаза, что за исключением упоминавшегося выше Б. Кроче эти философы – только немецкие ученые.

В конце жизни Бахтин рассказывал В. Д. Дувакину, что он с раннего детства говорил по-немецки и немецкий был для него почти первым языком, что И. Канта в оригинале он читал еще в детстве.<sup>40</sup> Конечно, не все такие рассказы надо воспринимать как абсолютно достоверные. Они могли быть таким же мифотворчеством, как рассказы тому же Дувакину о потомственном дворянстве или окончании классического отделения Петроградского университета. Но что-то они отражают. Безусловно, и Бахтин, и Волошинов росли в атмосфере немецкой философской культуры. Ориентация на эту культуру очень заметна во всех текстах круга Бахтина 20-х гг. Разумеется, это не значит, что авторы МФЯ не знали других языков (по крайней мере, французского): они, например, разбирают в оригинале Ф. де Соссюра, тогда еще не переведенного ни на русский, ни на немецкий язык. Но из франкоязычных авторов сколько-нибудь детально разбираются только Соссюр и Ш. Балли. А. Сеше, А. Мейе и Э. Дюркгейм упомянуты вскользь, Б. Кроче – в двух коротких абзацах. И всё! А немецких фамилий (включая австрийские) больше двух десятков. И как раз в эпоху, когда и лингвистика, и философия уже перестали быть «немецкими науками», какими они были весь XIX век.

Безусловно, немецкая наука (особенно выходящая за рамки позитивизма) близка авторам МФЯ, в ее анализе они как бы дома. Вовсе не обязательно они согласны с разбираемыми авторами; наоборот, нередко они их критикуют. Но Э. Кассирер, В. Дильтей, Г. Коген, Г. Риккерт, Ф. Брентано, Г. Зиммель и другие немецкие философы, упомянутые в книге, – представители привычной культурной среды, мысленный диалог с ними круг Бахтина вел уже давно. В этот ряд естественно входили и К. Фосслер с Л. Шпитцером, пусть, они занимались не только лингвофилософскими, но и конкретно-лингвистическими проблемами.

Вот характерный пример лучшей ориентации авторов МФЯ в философской, чем в лингвистической литературе. В самом начале второй части книги говорится: «Специальных работ по истории философии языка до сих пор нет», а «единственным пока солидным очерком истории философии языка и лингвистики» назван раздел в книге философа Э. Кассирера (259). В рецензии на МФЯ Р. О. Шор, профессиональный историк лингвистики, без труда показала, что это не так и на западных языках есть несколько книг такого рода, написанных не философами, а лингвистами, где информации содержится больше, чем у Кассирера.<sup>41</sup> Сразу отмечу и то, о чем

<sup>39</sup> Brandist 2002; Brandist 2004

<sup>40</sup> Беседы 1996: 36

<sup>41</sup> Шор 1929: 149

подробнее будет сказано в третьем экскурсе: формы вежливости японского языка отразились в статье «Слово в жизни и слово в поэзии» благодаря тому, что о них упоминалось в книге Э. Кассирера. Этот ученый (среди видных философов-неокантианцев более других касавшийся вопросов языка и во многом следовавший идеям Гумбольдта) вообще был для Бахтина особо значим; см. об этом специальную публикацию,<sup>42</sup> а также;<sup>43</sup> мы вернемся к этому вопросу в третьей главе. В недавнее время на Западе даже был поднят вопрос о «Бахтине-плагиаторе», поскольку в книге о Рабле обнаружились идеи, совпадающие с Кассирером.<sup>44</sup> А недавно Г. Амелин вообще заявил о «глубочайшей неоригинальности» Бахтина, якобы все свои идеи (включая идеи, содержащиеся в публикациях круга Бахтина) заимствовавшего у Г. Зиммеля и других немецких авторов.<sup>45</sup> Такая точка зрения, разумеется, является крайней.

Таким вниманием к немецкой немарксистской философии (о марксизме мы будем специально говорить в четвертой главе) книга резко отличалась от большинства современных ей работ в СССР, не только лингвистических, но и философских (хотя влияние Э. Кассирера наблюдалось даже у Н. Я. Марра, что тот признавал). Помимо общего процесса вытеснения из обихода немарксистской философии, не требующего особых объяснений, надо учитывать еще два обстоятельства.

Во-первых, в 1928–1929 гг. немарксистская философия, причем касавшаяся и проблем языка, в СССР еще существовала: работали и публиковались Г. Г. Шпет, А. Ф. Лосев (последний, кстати, работы по теории языка печатал даже в 50–60-е гг.), оба упомянуты в МФЯ. Но упоминание обоих там либо безоценочно, либо отрицательно. О книге<sup>46</sup> сказано: «Дана основательная критика концепции Вундта, но собственное построение Г. Шпета совершенно неприемлемо» (262); оценка его же книги о Гумбольдте приведена выше. Оба ученых явно не близки авторам МФЯ. А других философов языка тогда у нас не было, исключая марксистов, о которых речь пойдет в четвертой главе.

Во-вторых, в советской лингвистике независимо от общественной ситуации и даже отчасти вопреки ей (марризм требовал иного) в те годы распространялись структурные методы (пусть тогда они так не именовались). А большинству структуралистов была свойственна нелюбовь к «философствованию» (исключая отдельные ветви структурализма вроде глоссематики, связанной с неопозитивизмом). В советской науке о языке тех лет, если отвлечься от попыток построения марксистской лингвистики, о которых будет сказано ниже, не играли сколь-нибудь существенной роли обращения к философским теориям. В этом не было ничего нового: структуралисты следовали заветам позитивизма.

Но следует разобраться еще в одной проблеме, которую несколько лет назад поднял Н. Л. Васильев, один из наиболее серьезных и трезвомыслящих исследователей круга Бахтина в нашей стране. В комментариях к МФЯ в «Тетралогии» он пишет, что проблематика этой книги не относится к лингвистике, поскольку философия языка—особая наука, основанная на «классическом и новом кантианстве».<sup>47</sup> И далее: «Предметом внимания авторов МФЯ является не столько язык, сколько языковая природа человеческого общения — ее коммуникативный, социологический, психологический, эстетический и иные аспекты».<sup>48</sup>

Здесь надо разграничить два вопроса: терминологический и содержательный. Термин «философия языка», нередкий в XIX в., в XX в. стал менее распространенным. Он чаще употребляется философами, обращавшимися к проблемам языка, чем лингвистами, обращающи-

<sup>42</sup> Lahtemäki 2002

<sup>43</sup> Brandist 2004: 114—116

<sup>44</sup> Панич 2001: 174—178

<sup>45</sup> НГ, 20.02.2003

<sup>46</sup> Шпет 1927

<sup>47</sup> Васильев 1998: 540

<sup>48</sup> Васильев 1998: 541

мися к теории своей науки. Среди таких философов действительно часто бывали кантианцы или неокантианцы, а Бахтин в конце жизни любил говорить о своем кантианстве. Это, однако, не обязательно: вспомним хотя бы чисто лингвистическую и никак не кантианскую книгу датского ученого Отто Есперсена «Философия грамматики»,<sup>49</sup> впервые изданную за пять лет до МФЯ, но далекую от нее по идеям.

Но конечно, отсутствие в том или ином сочинении словосочетания «философия языка» еще не означает, что проблематика там иная по сравнению с трудами, где словосочетание есть. Важнее, конечно, содержательный аспект. Я согласен с Н. Л. Васильевым в том, что в центре внимания МФЯ — не язык как таковой, а использование его человеком (см. об этом в третьей главе). Но перечисленные им аспекты человеческого общения, имея, разумеется, отношение к философии, изучались, и изучались не только философами (и тем более не только последователями И. Канта), но и (в зависимости от специфики того или иного аспекта) специалистами по тем или иным наукам, в том числе лингвистами. Вопросы языкового общения либо включаются в лингвистическую теорию, либо ею принципиально игнорируются, как в последовательном «абстрактном объективизме». Последний подход — тоже, если угодно, некоторая философия, пусть в данном пункте нулевая. А сейчас (см. седьмую главу) проблема общения вновь стала центральной в теоретической лингвистике.

Можно, конечно, проблему, поднятую Н. Л. Васильевым, свести к чисто терминологической и считать, что ученый, не просто описывающий факты языка, а строящий некоторую теорию, уже перестает быть лингвистом и становится философом языка. Но вряд ли столь широкое употребление термина «философия» рационально.

Главное — в другом. Исходя из точки зрения Н. Л. Васильева, мы можем прийти к выводу о том, что авторы МФЯ и, например, Ф. де Соссюр различались не только концепциями, но и самими предметами исследования и не имеют никаких точек соприкосновения. Так, кстати, не считали и авторы МФЯ, включавшие «абстрактный объективизм» в число концепций философии языка. См. также современное исследование, где говорится о глубинной философии языка у Соссюра, только не кантианской, а картезианской, чуждой кругу Бахтина.<sup>50</sup>

Я исхожу из другой посылки: в МФЯ, прежде всего во второй части книги (но отчасти и в первой: проблема знака), содержится любопытная лингвистическая концепция, трактующая те же проблемы, что и «обычная» теория языкознания, но с существенно иных позиций. Лингвистическое содержание имеет и третья часть книги, посвященная несобственно-прямой речи. Из этого не следует, что вся проблематика книги является лингвистической. Но и ее лингвистический аспект заслуживает внимания.

<sup>49</sup> Есперсен 1958

<sup>50</sup> Vauthier 2002: 259—263

## 1.2. МФЯ и современная книга советская лингвистика

### 1.2.1. Московская и Петербургская лингвистические школы

Рассмотрев отношение МФЯ к предшествующей и современной ей мировой науке о языке, теперь можно перейти к выявлению места книги в развитии отечественной лингвистики. Здесь есть два аспекта: состояние этой науки в нашей стране к концу 20-х гг. и вопрос о контактах авторов книги с русскими советскими лингвистами. К сожалению, в последнем случае у нас часто мало фактического материала.

Во второй половине XIX в. и в начале XX в. в России сложились четыре ведущие школы языкознания: Харьковская, основанная А. А. Потебней, Московская, созданная Ф. Ф. Фортунатовым, Казанская и Петербургская, сформированные в разное время И. А. Бодуэном де Куртенэ. К 20-м гг. XX в. из этих школ реально остались лишь две: в Харькове заметных лингвистов уже не было, а в Казани еще работал последний из крупных представителей соответствующей школы В. А. Богородицкий, но он остался изолирован в науке. Господствовали и продолжали развиваться Московская школа, сложившаяся в 80-е гг. XIX в., и Петербургская, теперь уже Ленинградская школа, возникшая вскоре после переезда в 1900 г. ее основателя в Петербург. Об истории создания Петербургской школы см..<sup>51</sup>

Обе школы формировались в эпоху господства позитивизма и младограмматизма. Однако они заметно отошли от классической концепции младограмматиков, по-разному от нее отталкиваясь. Ф. Ф. Фортунатов, ученый, мало публиковавшийся, но имевший большое влияние на учеников устными курсами лекций, в общетеоретических высказываниях мало отличался от младограмматиков, но его оригинальность проявилась в конкретной исследовательской практике. Увлекавшийся математикой Фортунатов стремился внести в лингвистику математическую строгость мышления, распространяя ее не только на реконструкцию прасистем, но и на исследования по теории грамматики; см. его посмертно изданные курсы.<sup>52</sup> Фортунатовскую школу ее противники, в том числе и в период появления МФЯ, называли «формальной», поскольку она стремилась рассматривать явления языка строго, на основе языковых форм, без апелляции к значению (хотя, разумеется, с его учетом) и языковому сознанию говорящих. Такой подход закономерно привел многих последователей школы к структурализму. Именно из Московской школы вышли крупнейшие представители европейского структурализма Николай Трубецкой и Роман Jakobson, последний отмечал особую роль Фортунатова в становлении своих идей.<sup>53</sup>

И. А. Бодуэн де Куртенэ, основные труды которого собраны в двухтомнике,<sup>54</sup> был значительно критичнее по отношению к господствующим идеям лингвистики его времени и выдвигал концепции, предвосхищавшие структуралистские. Выше упоминалась его высокая оценка у В. Матезиуса, достаточно типичная для структуралистов; иногда даже считали, что по сравнению с Бодуэном у Ф. де Соссюра не было ничего особо нового.<sup>55</sup> Петербургская школа по сравнению с Московской характеризовалась особым интересом к постановке общих проблем, к тому, что в МФЯ названо философией языка; есть даже версия о кантианской основе концеп-

<sup>51</sup> Колесов 2003: 286—314

<sup>52</sup> Фортунатов 1956—1957

<sup>53</sup> Jakobson 1985: 6—7

<sup>54</sup> Бодуэн 1963

<sup>55</sup> Поливанов 1968: 185



ции Бодуэна.<sup>56</sup> Школа не стремилась ограничить исследования строго формальными процедурами, к чему имела склонность Московская школа. Петербургская школа постоянно обращалась к семантике, а психологический уклон сохранялся у нее дольше, чем у москвичей. Именно И. А. Бодуэн де Кур-тенэ ввел в мировую лингвистику понятие фонемы, но он понимал ее как «фонационное представление» в человеческой психике.

Ко времени написания МФЯ Фортунатова давно не было в живых, а Бодуэн де Куртенэ с 1918 г. жил на родине, в Польше. В Москве фортунатовские традиции продолжали Д. Н. Ушаков, М. Н. Петерсон; более молодой Н. Ф. Яковлев, близкий по идеям к Трубецкому и Якобсону, также модифицировал идеи школы в сторону структурализма. Близка к Московской школе была и Р. О. Шор, неоднократно упоминаемая в МФЯ, хотя ее взгляды не всегда отличались последовательностью. Начинали свой научный путь московские лингвисты самого тогда молодого поколения: Р. И. Аванесов, П. С. Кузнецов (упомянутый выше), А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров (о них мы поговорим в экскурсе 3). Подробнее о Московской школе см..<sup>57</sup>

Ленинградская школа отошла от идей Бодуэна де Куртенэ больше, чем Московская школа от идей Фортунатова. Из троих выдающихся учеников Бодуэна де Куртенэ в наибольшей степени сохранил верность идеям учителя Е. Д. Поливанов, еще в 1921 г. покинувший Петроград, а оставшиеся в этом городе Л. В. Щерба и Л. П. Якубинский, особенно последний, отошли от психологизма и ряда других пунктов концепции учителя. Близок к Ленинградской школе был и не учившийся у Бодуэна де Куртенэ непосредственно Виктор Владимирович Виноградов, о котором в данной книге будет не раз говориться. В 1928 г. он еще жил в Ленинграде, через два года он переедет в Москву, но не примкнет к Московской школе, а будет создавать собственную.

В МФЯ, как уже упоминалось, названа Харьковская школа, а затем говорится о Казанской школе и школе Фортунатова, то есть о Московской школе. Бодуэн де Куртенэ вместе с Н. В. Крушевским отнесен к Казанской школе. Петербургская школа специально не упоминается, но ряд ее представителей фигурирует в книге. Все эти школы, кроме уже не существовавшей харьковской, отнесены к «абстрактному объективизму» и оцениваются равно отрицательно: «Две русские лингвистические школы: школа Фортунатова и так называемая „казанская школа“ (Крушевский и Бодуэн де Куртенэ), являющиеся ярким выражением лингвистического формализма, всецело укладываются в рамки очерченного нами второго направления философско-лингвистической мысли» (273), то есть «абстрактного объективизма». Сюда же отнесен и «последователь „Женевской школы“» В. В. Виноградов (273).

Такая оценка не вполне точна. Все-таки Московская школа в большей степени укладывалась в рамки «абстрактного объективизма», чем Петербургская школа, особенно в ранних вариантах последней. Недаром Московскую школу постоянно обвиняли в «лингвистическом формализме», но И. А. Бодуэн де Куртенэ и Н. В. Крушевского отнесли к нему, кажется, лишь в МФЯ. Во всяком случае, эти два выдающихся лингвиста в не меньшей степени выходили за рамки «абстрактного объективизма», чем младограмматики, совмещавшие, по мнению МФЯ, черты обоих направлений. Отнесение В. В. Виноградова к Женевской школе также спорно (см. ниже). Впрочем, к концу 20-х гг. Ленинградская школа, главой которой тогда был Л. В. Щерба, развивалась в сторону более последовательного «абстрактного объективизма». Дальше всего от него, пожалуй, был Е. Д. Поливанов (о нем речь особо пойдет в четвертой главе), но его работы ни разу не упомянуты ни в МФЯ, ни в других работах волошиновского цикла.

Бросается в глаза и то, что в МФЯ (и вообще в волошиновском цикле) чаще объектом критики служит Ленинградская школа, а представители Московской школы (Р. О. Шор, М. Н.

<sup>56</sup> Колесов 2003: 314—325

<sup>57</sup> Алпатов 20016

Петерсон) больше фигурируют безоценочно, как источники информации о современной лингвистике Запада. Лишь один раз идет резкая полемика с Р. О. Шор по поводу игнорирования ею школы Фосслера. Впрочем, в последней части книги имеется и полемика с «абстрактным объективистом» А. М. Пешковским, тоже представителем Московской школы, хотя и занимавшим в ней несколько особую позицию.

Вероятно, больший акцент на полемике именно с ленинградцами, особенно с Виноградовым, связан не столько с принципиальными вопросами, сколько с лучшим личным знакомством, а иногда, как в случае Виноградова, и с пересечением интересов в науке. Отсутствие личных контактов авторов МФЯ с московскими учеными, знакомыми им лишь по публикациям, хорошо видно в связи с допущенной в первом издании МФЯ ошибкой: жившая в Москве Розалия Осиповна Шор несколько раз представлена как мужчина. Один из комментаторов МФЯ считает эту ошибку намеренной, «карнавальной».<sup>58</sup> Нам это представляется невероятным, более естественное предположение – недостаточная осведомленность авторов (ошибка была исправлена во втором издании книги, но сохранена в современных ее переизданиях). Симптоматична и другая ошибка, относящаяся к иной эпохе. Когда в разговоре Бахтина с В. Д. Дувакиным речь зашла о Московской школе и ее основателе, Бахтин спросил своего собеседника: «Вы ученик Фортунатова?».<sup>59</sup> Вопрос странен: Фортунатов умер, когда Дувакину было пять лет (а если учитывать, что Фортунатов оставил преподавание в 1902 г., то трудно было в 1973 г. встретить его живого ученика). Для Бахтина Фортунатов и его ученики – нечто далекое, известное лишь по книгам, и он просто не помнил, когда этот лингвист жил и преподавал.

## 1.2.2. Авторы МФЯ, их учителя и коллеги

Встает вопрос о том, какую лингвистическую подготовку получили авторы книги и насколько они были связаны с советской наукой о языке тех лет. Здесь больше сведений можно получить о Волошинове, но трудно сказать что-либо достоверное о Бахтине. Что-то есть в его беседах с В. Д. Дувакиным, но они все-таки в первую очередь отражают его взгляды последних лет жизни, и не всегда ясно, что было на самом деле.

Нет никаких точных данных о полученном Михаилом Михайловичем образовании. В его окружении в Невеле и Витебске как будто не было ни одного лингвиста (Волошинов тогда еще был от этой науки далек). В Ленинграде он мог общаться со многими тамошними языковедами, но положение не состоящего на службе «домашнего мыслителя» ограничивало деловые контакты, а среди людей, с которыми имелись постоянные личные контакты, к лингвистике непосредственное отношение стал иметь к тому времени лишь Волошинов. Даже о личных взаимоотношениях Бахтина с Виноградовым ничего достоверно не известно. Заседание ВАК 21 мая 1949 г., о котором речь пойдет ниже, кажется, единственный документально подтвержденный случай, когда эти два человека видели друг друга.

Как показано в,<sup>60</sup> нет никаких данных о том, чтобы Бахтин когда-либо и где-либо учился после четвертого класса гимназии. Его личные свидетельства разных лет об образовании (как и о многом другом вплоть до года рождения) крайне противоречивы. Вряд ли противоречия были нужны при наличии высшего образования, зато они естественны, если надо было скрывать отсутствие такового и тем более отсутствие среднего образования. Если бы это обнаружилось, то Бахтин лишился бы права преподавать в вузе и не смог бы стать кандидатом наук. Единственный случай, когда сообщение самого Михаила Михайловича можно считать достоверным, – это его заявление на следствии о том, что он не окончил университет и высшего

<sup>58</sup> Пешков 1998: 552

<sup>59</sup> Беседы 1996: 59

<sup>60</sup> Паньков 1993

образования не имеет. Как показывает опыт изучения следственных дел второй половины 20-х и первой половины 30-х гг.,<sup>61</sup> при фиксации биографических сведений, прямо не связанных с обвинениями в «контрреволюционной деятельности», подследственный старался быть максимально точным: ошибки и сознательные искажения могли бы привести к дополнительным неприятностям. В итоге можно считать достоверными два факта: М. М. Бахтин учился в гимназии до четвертого класса, М. М. Бахтин не имел высшего образования. Где в довольно большом промежутке между четвертым классом и последним курсом остановилось его образование, неизвестно.

Тем не менее нельзя отрицать возможность того, что он какое-то время учился в Новороссийском университете в Одессе и/или в Петроградском университете. Даже человек, не кончивший гимназию, мог посещать какие-то лекции в качестве вольнослушателя. Беседы с В. Д. Дувакиным показывают, что Бахтин имел представление о ведущих профессорах этих университетов. Впрочем, надо учитывать еще одно обстоятельство: в обоих университетах учился (и тут есть документальные подтверждения) старший его брат Николай Михайлович Бахтин. Поэтому мнение М. М. Бахтина о А. И. Томсоне, И. А. Бодуэне де Куртенэ, Л. В. Щербе могло основываться и на рассказах брата и его университетских друзей (о Щербе – и от Волошинова, учившегося у него позднее).

Учитывая все сказанное, нельзя ни подтвердить, ни отрицать возможность личных встреч Михаила Михайловича еще в юности с несколькими крупными лингвистами. Первым из них мог стать преподававший в Одессе профессор, член-корреспондент Академии наук Александр Иванович Томсон. Это был один из старших учеников Ф. Ф. Фортунатова, преданный учителю и не воспринявший последующее развитие лингвистических идей. Он, например, отрицал фонологию, считая, что она, если и имеет право на существование, относится к психологии, а не к лингвистике. Так он говорил П. С. Кузнецову, с которым беседовал в 1932 г., за три года до смерти; воспоминания о нем Кузнецова см..<sup>62</sup> В то же время А. И. Томсон много занимался экспериментальной фонетикой, весьма критически оцениваемой в МФЯ (257–258). См. также приводившиеся выше слова о нем Л. П. Якубинского, назвавшего Томсона «очень знающим, очень тонко наблюдающим исследователем», который, однако, не был способен оценить Гумбольдта. В классификации МФЯ одесского профессора явно можно отнести к «абстрактным объективистам», хотя и дососюрдовской эпохи. В МФЯ и других работах круга Бахтина он не упомянут, но в беседах с Дувакиным Бахтин оценил его очень хорошо: «Я помню, замечательный был лингвист Томсон. Он был прекрасный лингвист, прекрасный лингвист. Мы учились и сдавали по его великолепному учебнику... – „Введение в языкознание“». <sup>63</sup> Упомянуто, что Бахтин «как-то сейчас» хотел его достать, но это оказалось невозможным. Учился у Томсона Бахтин или нет, но учебник введения в языкознание он, несомненно, читал, и это, вероятно, была первая освоенная им лингвистическая книга (кроме, может быть, трудов Фосслера), которую он через много лет вспомнил, надо думать, в связи со своими занятиями по языкознанию.

В Петроградском университете в годы, когда там учился Николай и, может быть, Михаил Бахтин, ведущими лингвистами были Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ и его ученик Лев Владимирович Щерба. Первый из них, правда, тогда был связан с университетом мало: после трехмесячного заключения в 1914 г. он вернулся туда всего на год с небольшим после Февральской революции, и то лишь как «внештатный профессор». <sup>64</sup> До нас дошли отзывы Михаила Михайловича об обоих, зафиксированные В. Д. Дувакиным.

<sup>61</sup> Ашнин, Алпатов 1994

<sup>62</sup> ДКХ, 1995, № 2

<sup>63</sup> Беседы 1996: 31

<sup>64</sup> Колесов 2003: 313

Бахтин характеризовал Бодуэна де Куртенэ так: «Это был очень крупный ученый. Но, он не был педагогом. Он страшно увлекался, когда читал».<sup>65</sup> Повторена оценка Бодуэна де Куртенэ как большого ученого и плохого лектора, которую давал ему еще его первый ученик Н. В. Крушевский в письме к И. В. Цветаеву: «Лекции его полны содержания совершенно нового с внутренней стороны, с внешней безобразны, потому что он совершенно лишен дара слова»; цитируется по.<sup>66</sup> А о его научных взглядах сказано следующее: «Бодуэн де Куртенэ был, в сущности, основоположником. формализма вообще. Не ОПОЯЗа, а формализма вообще. Но было, собственно, два основоположника, которые создали два типа формализма в языкознании: московский Фортунатов... это один тип формализма. А вот другой тип, который как раз и лег в основу ОПОЯЗа, – это был... Бодуэн де Куртенэ. Он был ближе... вот к тому первоисточнику формализма вообще в мировом языкознании – это де Соссюра».<sup>67</sup> Далее Бахтин говорит: Бодуэн де Куртенэ у Соссюра «не учился, но знал его труды. И знал их сравнительно неплохо».<sup>68</sup>

Нетрудно видеть, что в 1973 г. Бахтин повторил оценки МФЯ. К «формализму» вновь причислена не только фортунатовская школа (что было широко распространено), но и бодуэновская школа (чего, кажется, никто, кроме авторов МФЯ, не делал). «Формализм» здесь употребляется в смысле, близком к смыслу термина МФЯ «абстрактный объективизм». В высказывании проявляется характерная для Бахтина черта: неточности в конкретике и глубина общих оценок. Бодуэн де Куртенэ предстает как последователь Соссюра (который был его моложе на 12 лет!), «неплохо знавший его труды», при этом Бахтин оговаривает, что имеет в виду лишь посмертно изданный его «Курс». Между тем «Курс» Соссюра вышел, когда Бодуэну был 71 год и тот уже высказал в печати основные свои идеи; в более поздних публикациях он «Курс» Соссюра не упомянул ни разу, и исследователи его творчества спорят о том, насколько он ему был известен. Но идея Бахтина (отсутствующая в МФЯ) о том, что Бодуэн де Куртенэ был ближе к Соссюру, чем Фортунатов и также упоминаемый им А. М. Пешковский, весьма справедлива (хотя Бодуэн в некоторых пунктах выходил за рамки «абстрактного объективизма»). Важно и указание Бахтина на то, что из идей Бодуэна де Куртенэ выросли ОПОЯЗ и формальная школа в литературоведении, враждебная кругу Бахтина (большинство членов ОПОЯЗа учились у Бодуэна).

Оценки Щербы у Бахтина совсем иные: «Щерба, собственно, не был теоретиком, он был все-таки... Во-первых, он был замечательным знатоком французского языка. Его книга основная о французском языке – это наиболее ценная его работа. Потом, он был педагог».<sup>69</sup> Щерба прямо противопоставлен своему учителю: тот был значительным лингвистом и слабым педагогом, а качества ученика противоположны. С оценкой Щербы как не теоретика согласиться трудно, хотя какие-то основания так считать у Бахтина могли быть. Этот лингвист долго находился как бы в тени учителя, проявив себя в 10–20-е гг. в качестве лектора и выдающегося специалиста по экспериментальной фонетике. Наиболее же крупные его теоретические публикации появились позднее: в 30-е и 40-е гг. К тому же Щерба (как и Соссюр, Фортунатов, Якубинский и ряд других ученых) больше реализовался в университетских курсах и печатался не так много. Упомянутая Бахтиным книга—видимо, несколько раз издававшаяся «Фонетика французского языка». Это действительно очень хорошая книга, но все же посвященная сравнительно узкой теме. Однако это – одна из всего лишь трех монографий ученого (две другие

<sup>65</sup> Беседы 1996: 58

<sup>66</sup> Пахолок 2003: 107

<sup>67</sup> Беседы 1996: 58–59

<sup>68</sup> Беседы 1996: 59

<sup>69</sup> Беседы 1996: 62

– о русских гласных и о лужицком языке). Свою теоретическую концепцию Щерба выразил более всего в ста-тьях, которые были собраны в два сборника уже после его смерти.<sup>70</sup>

Сейчас мы представляем наследие этого ученого иначе, чем это могло казаться в 10—20-е гг. Представление о том, что Щерба – «не теоретик», вероятно, шло и от Волошинова, бесспорно у него учившегося. Видимо, поэтому имя Щербы ни разу не упомянуто в МФЯ, хотя в Ленинграде конца 20-х гг. он был самым именитым лингвистом после Марра. И если бы не беседы с Дувакиным, мы никогда бы не узнали отношения круга Бахтина к этому ученому. Его, видимо, считали там лишь хорошим популяризатором «абстрактно-объективистских» идей своего учителя. Не было обращено внимание даже на такое его высказывание, перекликавшееся с идеями МФЯ (замеченное Л. П. Якубинским в статье о диалогической речи): «Монолог является в значительной степени искусственной языковой формой. подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге».<sup>71</sup> Отмечу, что имя Л. В. Щербы (бывшего кадета) фигурирует в следственном деле, по которому осужден Бахтин<sup>72</sup> (как и в «деле славистов» 1933–1934 гг.); впрочем, после 1919 г. Щербу не арестовывали.

О лингвистической подготовке Волошинова известно несколько больше. Нет никаких данных о его интересе к науке о языке до 1922 г., до возвращения из Витебска в Петроград. Потом, как свидетельствует его биограф Н. Л. Васильев, он поначалу был обусловлен внешними обстоятельствами. Волошинов хотел закончить прерванное в 1916 г. обучение в университете, но не на юридическом факультете, где учился раньше, а на литературно-художественном отделении факультета общественных наук, что вполне отвечало его наклонностям, проявлявшимся в Витебске. Однако по неизвестным нам причинам вопреки его просьбе Волошинов был зачислен на эт-нологическую лингвистическую специальность того же факультета.<sup>73</sup> Там он специализировался по лингвистике.

Курс отделения Волошинов прошел за два года, окончив университет, уже Ленинградский, в 1924 г. О том, у кого он учился, мне рассказал Д. А. Юнов, который готовит об этом публикацию по архивным данным; приношу ему в связи с этим благодарность.

Среди ученых, чьи курсы он должен был слушать, было немало известных: В. Ф. Шишмарев (высоко оцененный Бахтиным в беседах с Дувакиным), С. П. Обнорский, Н. С. Державин и др. Но особо надо отметить три имени. Это Л. В. Щерба, после отъезда И. А. Бодуэна де Куртенэ в Польшу безусловный научный лидер в лингвистической части факультета. Это Л. П. Якубинский, доцент факультета с 1923 г..<sup>74</sup> Это В. В. Виноградов, преподававший там с 1920 г. Правда, в годы, когда Волошинов кончал университет, будущий официальный глава советского языкознания был там «внештатный за неблагонадежностью», как выразился Р. Якобсон в 1925 г. в письме Н. Н. Дурново.<sup>75</sup> Однако Д. А. Юнов подтвердил, что Виноградов был в числе преподавателей, у которых учился Волошинов (отмечу, что Виноградов и Волошинов были ровесниками, но жизнь их сложилась так, что первый завершил образование намного раньше).

Возможны контакты Волошинова и с другими видными лингвистами тех лет. С. С. Конкин и Л. С. Конкина упоминают о том, что он какое-то время учился у такого крупного ученого, как Н. Ф. Яковлев.<sup>76</sup> Неясно, когда и как это происходило, поскольку Яковлев жил в Москве, а Волошинов в Ленинграде. Возможно, Яковлев, в те годы популярный «красный профессор», приезжал на короткое время в Ленинград прочесть какой-то курс. Среди знакомых Волошинова конца 20-х гг. Д. А. Юнов назвал имя А. А. Холодовича, тогда начинающего ученого

<sup>70</sup> Щерба 1957; 1974

<sup>71</sup> Щерба 1915: 3—4

<sup>72</sup> Конкин, Конкина 1993: 189

<sup>73</sup> Васильев 1995: 9

<sup>74</sup> Леонтьев 1986: 5—6

<sup>75</sup> Letters 1994: 96—97

<sup>76</sup> Конкин, Конкина 1993: 133

(родился в 1906 г., окончил Ленинградский университет в 1926 г.), а впоследствии одного из крупнейших советских лингвистов 30—70-х гг.

По окончании университета в 1925–1930 гг. Волошинов работал, учился в аспирантуре и вновь работал в Институте сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ) при Ленинградском государственном университете. Именно к этому периоду относятся все значительные публикации, подписанные его именем. Обращает на себя внимание несоответствие между его местом в структуре института и тематикой его публикаций. В документах ИЛЯЗВ отмечается, что он специализируется по «методологии литературы», работает над «вопросами социологической поэтики», в аспирантуре направление его исследований – «история русской литературы», он некоторое время работал секретарем подсекции методологии литературы (как раз там обсуждался проспект МФЯ), его руководителем в аспирантуре был литературовед В. А. Десницкий. См. обо всем этом.<sup>77</sup> А среди публикаций нет ни одной чисто литературоведческой, разве что рецензия на книгу В. В. Виноградова; литературоведческая проблематика затрагивается в статье «Слово в жизни и слово в поэзии», но и она посвящена пограничным с лингвистикой вопросам; то же можно сказать и о третьей части МФЯ. В то же время им издана совсем далекая от литературоведения книга о фрейдизме, остальные же публикации—лингвистические. Вопросы же лингвистики, так или иначе, затрагиваются во всех публикациях, включая и книгу о фрейдизме. Но как лингвист Волошинов выступал в качестве одиночки, мало связанного даже с лингвистической секцией ИЛЯЗВ.

Любопытны здесь представления современников о Волошинове. Я успел в 1995 г. поговорить о нем с ныне покойной В. Н. Ярцевой, бывшей, вероятно, одной из последних среди тех, кто знал Валентина Николаевича, хотя и не близко. Она училась в Ленинградском пединституте имени Герцена как раз в годы, когда он там преподавал после закрытия ИЛЯЗВ. Виктория Николаевна, сама лингвист, говорила, что в институте Волошинова воспринимали как литературоведа, в лучшем случае занимавшегося пограничными с лингвистикой вопросами вроде стилистики. А ведь, по архивным данным, он читал тогда введение в языкознание и другие лингвистические курсы. Но лингвисты его «своим» все равно не считали.

Позиция лингвиста среди литературоведов могла быть связана и с личными причинами: как указывает Н. Л. Васильев, В. А. Десницкий «протезировал молодому ученому».<sup>78</sup> Но, вероятно, такая позиция давала Волошинову и определенную свободу, о чем свидетельствует история с обсуждением аспирантского отчета, которая будет обсуждена в следующей главе.

### 1.2.3. Круг Бахтина и Л. П. Лкубинский

Нам остается обсудить отношения круга Бахтина с тремя видными ленинградскими лингвистами тех лет, упоминаемыми в МФЯ и других публикациях.

Среди профессиональных лингвистов, работавших в ИЛЯЗВ и общавшихся с Волошиновым, самым крупным был Лев Петрович Якубинский. Этот очень заметный в Ленинграде в 20—30-е гг. лингвист после смерти в 1945 г. оказался во многом забыт. Одной из причин этого стало то, что он в основном реализовывал себя как преподаватель и лектор (а также как хороший организатор науки), очень мало печатаясь. Основные из его прижизненных публикаций собраны в небольшой по объему книге,<sup>79</sup> до того посмертно был издан один из его лекционных курсов конца 30-х гг.,<sup>80</sup> но он не имеет отношения к нашей теме.

<sup>77</sup> Паньков 1995

<sup>78</sup> Васильев 1995: 13

<sup>79</sup> Якубинский 1986

<sup>80</sup> Якубинский 1953

Неизвестно, был ли знаком Якубинский с Бахтиным, но он, безусловно, был в течение нескольких лет тесно связан с Волошиновым. До революции они одновременно учились на разных факультетах Петербургского/Петроградского университета (Якубинский был на три года старше), но нет данных об их знакомстве тех лет. Но потом, как уже говорилось, Волошинов учился в 1923–1924 гг. у Якубинского в университете. Потом они сталкивались в ИЛЯЗВ, где Якубинский возглавлял лингвистическую секцию. В том числе он входил в комиссию, учитывавшую успеваемость аспирантов института;<sup>81</sup> следовательно, он не мог не познакомиться с «Отчетом» Волошинова. В конце данной главы и в следующей главе я попытаюсь восстановить гипотетические замечания Якубинского к «Отчету». Позже Якубинский и Волошинов параллельно друг другу печатались в журнале «Литературная учеба», о чем будет говориться в пятой главе. После ИЛЯЗВ оба перешли в ЛГПИ имени А. И. Герцена, где Волошинов был некоторое время доцентом, а Якубинский до конца жизни профессором. Вероятно, Волошинова туда устроил именно Якубинский.

Л. П. Якубинский был учеником И. А. Бодуэна де Куртенэ, хотя рано пошел самостоятельным путем. Как ученый он начинал в рамках ОПОЯЗа, одним из создателей которого был; его ранние статьи собраны в книге.<sup>82</sup> Однако уже с начала 20-х гг. он начал отходить от формального метода, что нашло выражение в большой по объему статье «О диалогической речи», опубликованной в 1923 г. в сборнике «Русская речь. 1» (далее ссылки на ее переиздание в сборнике 1986 г.). Она оказалась самой крупной из теоретических публикаций ученого. В ней он ближе всего подходил к тематике и идеям МФЯ и других работ круга Бахтина.

В МФЯ статья упомянута дважды в третьей части. Она названа единственной в русской литературе работой, посвященной «проблеме диалога с лингвистической точки зрения» (332). Упоминание скорее нейтральное, чем положительное. Второй раз статья упомянута в связи с заимствованным из нее термином «внутреннее реплицирование» (335). Можно обнаружить и более широкие переклички между данной статьей и МФЯ, а также «Словом в жизни и словом в поэзии».

Это и критика игнорирования в традиционной лингвистике проблем функционирования речи. Это и интерес к идеям В. фон Гумбольдта как одного из ученых, обращавших на них внимание. Это и выдвижение на первый план проблемы диалога: «В сущности, всякое взаимодействие людей есть именно взаимодействие; оно по существу стремится избежать односторонности, хочет быть двусторонним, диалогичным и бежит монолога».<sup>83</sup> Отмечу и рассуждения Якубинского о роли интонации в диалоге, перекликающиеся с тем, что сказано об этом в МФЯ и «Слове в жизни и слове в поэзии»; даже разбирается один и тот же пример с шестью мастеровыми из «Дневника писателя» Достоевского;<sup>84</sup> ср. (321–322). Также и проблема различия между «словом в жизни» и «словом в поэзии», ключевая для соответствующей статьи, упомянута Якубинским в статье о диалоге<sup>85</sup> и более подробно разобрана в статье времен ОПОЯЗа (1917) «Скопление одинаковых плавных в практическом и поэтическом языке».<sup>86</sup> Влияние идей «теоретика школы формализма» Якубинского на МФЯ уже отмечалось в одном из предисловий к английскому изданию книги<sup>87</sup> (при этом, правда, не указано, что к 1923 г. Якубинский уже отошел от формализма). Идея о влиянии на МФЯ формальной школы через Якубинского повторяется и в другом предисловии.<sup>88</sup>

<sup>81</sup> Паньков 1995: 72

<sup>82</sup> Якубинский 1986

<sup>83</sup> Якубинский 1986: 32

<sup>84</sup> Якубинский 1986: 29

<sup>85</sup> Якубинский 1986: 23–24

<sup>86</sup> Якубинский 1986: 176–182

<sup>87</sup> Matejka 1986: 171

<sup>88</sup> Titunik 1986: 191

Впрочем, в статье Якубинского о диалоге есть и существенные расхождения с концепцией МФЯ. Прежде всего, они заключаются в том, что речевую деятельность человека автор статьи рассматривает не только как «социологический факт», но и как «факт психологический (биологический)».<sup>89</sup> С этим авторы МФЯ никак не были согласны, книга подчеркнута антипсихологична. А статья Якубинского в значительной части посвящена психологическим наблюдениям и самонаблюдениям.

Однако к концу 20-х гг. идеи статьи уже были прошлым для Якубинского. Как позже писал о нем В. В. Виноградов, от работ, имевших «явный отпечаток влияния идеалистической психологии», ученый пришел к тому, что «осваивал марксизм не как догму, а как творческий метод».<sup>90</sup> Такой путь тогда проделали многие, о чем будет говориться в четвертой главе. Но Якубинский «заблуждался, принимая теорию Н. Я. Марра за марксистское языкознание».<sup>91</sup> В конце 20-х – начале 30-х гг. Якубинский отличался и активной политической позицией (к тому времени вступил в партию), и стремлением построить марксистскую лингвистику, и верностью марровскому «новому учению», с которым он позже, во второй половине 30-х гг. решительно порвет.

Публикаций в то время у него мало. Это лишь уже упоминавшиеся статьи в «Литературной учебе» [Якубинский 1930а, б, в; Якубинский 1931а, б], потом изданные отдельной книгой [Иванов, Якубинский 1932], а также интересная статья с полемикой против Соссюра [Якубинский 1931в] (только эта статья включена в однотомник 1986 г.). Во всех этих публикациях по сравнению со статьей 1923 г. есть движение в сторону концепции, отраженной в МФЯ: полный отказ от психологизма и последовательный социологизм в отношении языка, критика идей Соссюра. Но уже сама тематика другая, что хорошо видно из сопоставления печатавшихся в одной серии статей в «Литературной учебе» (статьи, вышедшие под именем Волошинова, будут рассмотрены в пятой главе). Волошинов писал о социальной функции слова и высказывания, продолжая проблематику МФЯ, а Якубинский – об отражении в русском языке социальных различий. Статьи последнего в большей степени соответствовали основной линии развития социолингвистики в СССР тех лет. А критика Соссюра у Якубинского связана далеко не с тем, за что швейцарский ученый критикуется в МФЯ: Якубинский спорит с его высказыванием о невозможности для говорящих сознательно изменить свой язык, из чего следует невозможность целенаправленной языковой политики (здесь Якубинский по сути продолжал идеи своего учителя И. А. Бодуэна де Куртенэ). В четвертой главе я вернусь к этой статье. Лишь изредка Якубинский вспоминал о прежних темах. Говоря о возможности вносить элемент диалога в научно-популярную литературу, он писал: «Всякое утверждение включает в себе вопрос и ответ в снятом виде» [Якубинский 1931б: 51]. Однако он тут же сводит проблему диалога в письменной речи к его самой примитивной для письменного текста форме – вопросу-ответному (кате-хизисному) изложению.

Итак, и этот лингвист, где-то сходявшийся с МФЯ в проблематике и, может быть, даже в чем-то повлиявший на написание этой книги, к 1928–1929 гг. был далек от ее идей. В отечественной науке авторам книги было не на кого опереться. «Индивидуалистический субъективизм», отмеченный в МФЯ у школы Потебни, уже был в прошлом, а наиболее нелюбимый ими «абстрактный объективизм» решительно господствовал. Все ссылки в книге на отечественных авторов – либо критические, либо чисто информационные, либо относятся к частностям.

В заключение раздела отмечу, что идеи Якубинского, до недавнего времени забытого даже на своей родине, сейчас все более привлекают внимание, в том числе и зарубежных исследователей. На проходившем в июле 2002 г. в Кре-Берар (Швейцария) colloquium по совет-

<sup>89</sup> Якубинский 1986: 17

<sup>90</sup> Виноградов 1953: 12

<sup>91</sup> Виноградов 1953: 12



ской науке 20—30-х гг. сразу два доклада были специально посвящены Л. П. Якубинскому, в том числе говорилось и о его влиянии на Бахтина. Один из докладов был сделан К. Брандистом, который в недавней публикации пишет о том, что готовит особую статью о влиянии идей Якубинского на концепцию речевых жанров у Бахтина в 50-е гг..<sup>92</sup>

### 1.2.4. Круг Бахтина и В. В. Виноградов

Среди ученых, к идеям которых, так или иначе, были равнодушны Бахтин и люди его круга, необходимо обратить внимание и на уже упоминавшегося Виктора Владимировича Виноградова.

Отношение Бахтина к этому человеку составляет некоторую загадку. Как уже было сказано, неизвестно, встречались ли они когда-нибудь до 1949 г. Но они могли быть лично знакомы и в 1916–1918 гг., когда оба жили в Петрограде, и во второй половине 20-х гг., когда они жили в Ленинграде и были связаны с одними и теми же людьми, включая В. Н. Волошинова и П. Н. Медведева. Впрочем, о личных контактах Волошинова и Виноградова известно ненамного больше. Достоверно лишь одно: Виноградов был в числе преподавателей, у которых Волошинов учился в 1922–1924 гг. в университете. Контактывали ли они позже, неизвестно. Н. Л. Васильев называет Во-лошинова «коллегой по работе» Виноградова,<sup>93</sup> исходя, по-видимому, из того, что Виноградов имел в ИЛЯЗВ аспирантов. Но об их каких-либо отношениях в ИЛЯЗВ пока ничего не известно.

Но и в работах круга Бахтина 20-х гг. и в более поздних сочинениях Бахтина чувствуется особое внимание к деятельности Виноградова, хотя чаще связанное с критическим к ней отношением. Бахтиноведы не раз отмечали, что этот ученый был оппонентом Бахтина и его круга на протяжении более чем четырех десятилетий: его критические оценки встречаются у Бахтина или Волошинова с 1924 по 1965 г..<sup>94</sup> Особенно подробно об этом особом отношении пишет Л. А. Гоготишвили в комментариях к лингвистическим работам Бахтина 50-х гг. Об этих комментариях я буду специально говорить в главе шестой, здесь лишь отмечу их «виноградовский» аспект, в оценке которого (в отличие от ряда других аспектов) я с Л. А. Гоготишвили полностью согласен. Она указывает, что в текстах 50-х гг. Виноградов – главный оппонент даже там, где прямо не упоминается (а в наиболее законченных рукописях его имя ни разу не встречается). Л. А. Гоготишвили отмечает скрытые «антивиноградовские» мотивы в его неоконченных текстах и особенно в подготовительных материалах к ним,<sup>95</sup> а в «Проблеме речевых жанров» видит «виноградовскую призму», сквозь которую рассматриваются враждебные автору концепции [Гоготишвили 1996: 538].

Конечно, это уже 50-е гг. В это время Бахтин в Саранске не мог не сравнивать свою судьбу с судьбой Виноградова: эти судьбы, сходные в 30-е гг., к 50-м гг. сильно разошлись. Но особое отношение к Виноградову чувствуется в 20-е гг. и в волошиновском цикле, и в «Проблемах творчества Достоевского». Как раз этот ученый, в те годы далеко не самый именитый в наших филологических кругах (хотя известный намного больше, чем весь круг Бахтина, и уже опубликовавший несколько книг), казался главным противником. В. В. Колесов высказывает удивление и не находит «разумных объяснений» в связи с тем, что «не входивший в круг записных формалистов» Виноградов постоянно критиковался Бахтиным (в число работ которого отнесен и волошиновский цикл).<sup>96</sup> Но, как справедливо отмечает Л. А. Гоготишвили,

<sup>92</sup> Brandist 2004: 121

<sup>93</sup> Васильев 2000б: 305

<sup>94</sup> Махлин 2000: 592

<sup>95</sup> Гоготишвили 1996: 540

<sup>96</sup> Колесов 2003: 368

Виноградов, может быть, и не самый враждебный, но самый «затрагивающий» из оппонентов Михаила Михайловича; он постоянно оказывается близок по тематике и далек по теоретическим установкам.<sup>97</sup>

Вернемся к отнесению Виноградова в МФЯ к последователям Женевской школы. Сейчас, когда можно рассмотреть весь творческий путь этого выдающегося русиста, неправомерность такой трактовки особенно очевидна. В историю отечественной науки Виноградов, как я уже писал,<sup>98</sup> вошел прежде всего как хранитель традиций русской дореволюционной науки. К структурализму он в целом относился отрицательно, особенно в публикациях 50—60-х гг. Об этом свидетельствуют и воспоминания о Викторе Владимировиче, см..<sup>99</sup>

Позволю к этому добавить и свои личные воспоминания. Я в 1963–1968 гг., то есть в последние годы жизни Виноградова, учился на отделении структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Тогда это был ведущий центр «новой» лингвистики, основанной на структурных методах (хотя на Западе эпоха структурализма как раз к этому времени завершилась). «Традиционная» наука о языке, господствовавшая на других отделениях факультета, там оценивалась крайне низко. И чуть ли не главным ее олицетворением казался академик Виноградов, заведовавший кафедрой русского языка на факультете (сказывались, конечно, и неприязненные личные отношения между ним и заведующим кафедрой структурной и прикладной лингвистики В. А. Звегинцевым). На нашей кафедре существовал некий «антикульт» личности Виноградова, как я сейчас понимаю, во многом несправедливый. Академик не оставался в долгу. Помню, как, представляя в апреле 1968 г. заместителю декана М. Н. Зозуле незнакомого молодого человека, он сказал: «Вот наш новый аспирант из Венгрии. К счастью, не по структурным методам». Вообще для последовательных советских структуралистов тех лет Виноградов был таким же главным противником, как для круга Бахтина, только их отношение к академику не выражалось в печати. Иными, однако, были и их позиции (очень последовательный «абстрактный объективизм»), и причины такого отношения (сказывалось высокое официальное положение Виноградова, как бы олицетворявшего «казенную науку»). В 80—90-е гг. некоторые из этих ученых стали относиться к уже покойному Виноградову намного лучше.

Конечно, в конце 20-х гг. это все еще было в будущем. Однако и в 20-е гг. публикации Виноградова вряд ли позволяли видеть в нем более строгого последователя Соссюра, чем, скажем, в Л. В. Щербе. Впрочем, у него и тогда, и даже позже было заметно некоторое влияние Женевской школы, особенно Шарля Балли. Например, его получившая значительное распространение в отечественной науке классификация фразеологизмов представляет собой пересадку на русскую почву соответствующих идей Балли, что показал И. Е. Аничков.<sup>100</sup>

<sup>97</sup> Гоготишвили 1996: 540

<sup>98</sup> Алпатов 1998a

<sup>99</sup> Макаев 1992

<sup>100</sup> Аничков 1997: 429—431

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.